

# Дальше живите сами

**Автор:**

[Джонатан Троппер](#)

Дальше живите сами

Джонатан Троппер

Известие о смерти отца застаёт Джада Фоксмана в тяжелый момент: он потерял работу и переживает измену жены. Теперь ему предстоит еще одно испытание – провести траурную неделю под одной крышей со своим любящим еврейским семейством. То, что Фоксманы собрались по печальному поводу, не мешает им упражняться в остроумии, попадать в нелепейшие ситуации и выяснять отношения. За семь дней в родительском доме герою предстоит серьезно измениться и открыть много нового в себе и близких. Впрочем, обо всех самых драматичных переживаниях – даже о смерти – автору удастся говорить остроумно, легко, с неизменной иронией, а обо всех персонажах, как бы порой сомнительно они себя ни вели, – с теплотой и симпатией.

«Дальше живите сами» – пятый роман Джонатана Троппера – уже более пяти лет остается бестселлером. В 2014 году на экраны вышла его киноверсия, где роль сексуальной матери семейства сыграла Джейн Фонда.

Джонатан Троппер

Дальше живите сами

Маме и папе

Jonathan Tropper

This Is Where I Leave You

This edition is published by arrangement with Writers House and Synopsis Literary Agency

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Издание осуществлено при техническом содействии издательства АСТ

© Jonathan Tropper 2009

© О.Варшавер, перевод на русский язык, 2010

© А.Бондаренко, художественное оформление, макет, 2010

© ООО "Издательство Астрель", 2010 Издательство CORPUS ®

## Глава 1

– Папа умер, – сообщает Венди походя. Словно такое случилось много раз, чуть ли не каждый день. Венди спокойна, как удав. Это жутко раздражает, особенно в трагические минуты. – Скончался два часа назад.

– Мама держится?

– Ты что, маму не знаешь? Советовалась со мной, сколько дать на чай полицейскому, который пришел составлять протокол.

Я невольно улыбаюсь, хотя меня, конечно, бесит неспособность Фоксманов выражать эмоции в переломные моменты жизни – патент можем брать на это дело, ей-богу. Любое событие, требующее мало-мальской искренности, в нашей семейке мгновенно принижается или передергивается. Мы подкалываем и даже оскорбляем друг друга на днях рождения и свадьбах, в радости и в болезни. Теперь вот умер отец, а Венди язвит. Что ж, отцу поделом, поскольку от него-то мы и унаследовали пристрастие к иронии, двусмысленности и подавлению любых чувств.

– Но это не самое худшее, – произносит Венди.

– Не худшее? Господи, Венди! Что ты несешь?

– Ну ладно, оговорилась.

– Ничего себе оговорочка.

– Он просит, чтобы мы отсидели шиву.

– Кто просит?

– А о ком мы говорим? О папе! Так папа просит, чтобы мы отсидели шиву.

– Папа умер.

Венди вздыхает, давая понять, как мучительно для нее пробиваться через непроходимую чашу моей тупости.

– Насчет шивы он прав, – продолжает она, – сейчас самый подходящий момент.

– Но папа атеист.

– Был атеист.

– Ты хочешь сказать, что он уверовал накануне смерти?

- Нет, я хочу сказать, что он умер, и говорить о нем надо в прошедшем времени.

Если этот разговор кажется беседой двух бессердечных сволочей, так это потому, что нас такими воспитали. На самом деле мы давно горюем, то сильнее, то тише, каждый по-своему; этот траур длится уже года полтора – с тех пор как отцу поставили диагноз. До этого его мучили боли в животе, но все просьбы матери сходить к врачу он пропускал мимо ушей, только все увеличивал дозы антацидов, которые и без того сосал всю жизнь, как леденцы, по любому поводу. Где бы он ни был, ковры и полы всегда оказывались усеяны блестящими обертками и напоминали мокрый от дождя асфальт. А потом в стуле у него появилась кровь.

- Твой отец недомогает, – обиняками, как всегда, сказала мама по телефону, а где-то вдалеке послышался ворчливый голос отца:

- Кровью сру.

За пятнадцать лет, что я не живу дома, он ни разу не взял трубку. Говорила всегда мама, а папа время от времени вставлял комментарии. Так было не только по телефону. Под прожекторами, на сцене, всегда мать. Женившись на ней, отец навсегда обрек себя на роли второго плана.

Опухоли на томограмме кустились по всему периметру его черной, как угольная пустыня, двенадцатиперстной кишки, подтверждая легендарный отцовский стоицизм: оказалось, содовыми таблеточками он лечил метастазирующий по всей брюшной полости рак. Целый год. Потом, само собой, начались операции, облучение, а напоследок – уже от отчаяния – сеансы химиотерапии, призванные скукожить опухоли. Но они вместо этого скукожили самого папу: его некогда широкие плечи торчали, точно костистые шишечки, обтянутые дряблой кожей. Следом сморщились мышцы, перетерлись сухожилия, все тело превратилось в сгусток нестерпимой боли, и эта боль потихоньку унесла его в кому, из которой – мы это знали – ему уже не суждено будет вернуться. Да и зачем возвращаться, если ты болен раком? Чтобы, корчась от боли и отвращения, стать свидетелем собственного конца? Ему понадобилось четыре месяца, чтобы умереть, – на три больше, чем предсказывали онкологи. “Ваш папа – борец”, – говорили врачи, когда мы приходили его навестить, но они сильно лукавили, потому что отец был уже в полном нокауте. Оставайся он в сознании, наверняка бы сердился, что ему никак не удастся сдохнуть, хотя дело вроде бы незатейливое. В Бога он не верил, а жизнь прожил под девизом “Сри или слезь с толчка”.

Короче, смерть отца – уже не событие, а лишь финал, точка в череде печальных событий.

– Похороны завтра утром, – говорит Венди. – Я лечу сегодня, буду к вечеру, с детьми. У Барри сейчас важная встреча в Сан-Франциско, он прилетит последним рейсом.

Барри, муж Венди, – управляющий активами в инвестиционном фонде. Похоже, ему платят за то, что он мотается по миру на частных самолетах и проигрывает в гольф всяким богатеям, которым могут понадобиться деньги. Несколько лет назад его перевели в офис на западное побережье, и семья переехала в Лос-Анджелес, что само по себе бессмысленно, потому что Барри все равно постоянно в разъездах, а Венди, несомненно, предпочла бы жить на востоке страны. Здесь ее распухшие от беременностей щиколотки и постоянный послеродовой синдром не так явственны, поскольку вокруг нет кинозвезд. Впрочем, за неудобства она получает очень и очень неплохую компенсацию.

– Так ты летишь с детьми?

– Я бы с радостью не тащила всю ораву, поверь. Но оставить их с нянькой на целых семь дней – все-таки слишком.

Орава – это шестилетний Райан и двухлетний Коул, белобрысые розовощекие херувимы, которым удается разнести любое помещение за две минуты, и семимесячная девочка Серена.

– На семь дней? Почему на семь?

– Шиву сидят семь дней.

– Мы что, правда будем сидеть шиву?

– Это его предсмертное желание, – отвечает Венди, и я, кажется, наконец улавливаю в ее голосе скорбную ноту.

– А Пол согласен?

- Пол мне об этом и сообщил.

- И как он это сообщил?

- Сказал, что папа хочет, чтобы мы отсидели шиву.

Пол – мой старший брат. Он старше меня на год и четыре месяца. Мама всегда уверяла, что родила меня не по ошибке, а намеренно забеременела через семь месяцев после рождения Пола. Но я этим рассказням никогда не верил, особенно после того как отец, надрывшись однажды в пятницу вечером персиковым шнапсом, проговорился, что в прежние времена считалось, будто женщина не может залететь, пока кормит грудью. Что до нас с Полом, мы вполне ладим, если держимся друг от друга подальше.

- А Филиппу кто-нибудь позвонил? – спрашиваю я.

- Я оставила сообщения по всем последним номерам, которые у меня имеются. Впрочем, не факт, что он их вообще прослушивает. А также – что не сидит в тюрьме, не обкурился и не валяется в сточной канаве. Короче, может, он и приедет. Слабый шанс есть.

Филипп – наш младший брат, на девять лет моложе меня. Логика, с которой родители производили нас на свет, воистину непостижима. Сначала Венди, Пол и я – тут предки уложились за четыре года, а потом, спустя почти десять лет, – Филипп, вроде неуклюжего заключительного аккорда. Этаким Пол Маккартни семейства Фоксманов: красавчик не в пример остальным, на фотографиях вечно смотрит не в ту сторону, а частые слухи о его смерти всегда оказываются несколько преувеличенными. В детстве его то баловали, то вообще не замечали, и вполне возможно, что это сказалось на его характере роковым образом. Филипп вырос безнадежно испорченным человеком. Сейчас он живет на Манхэттене, и там днем с огнем не сыщешь травку, которую он еще не попробовал, или модель, которую он не успел поиметь. Иногда братик исчезает с радаров на много месяцев, а потом вдруг, без предупреждения, заявляется к тебе в дом на ужин и за столом сообщает – или даже забывает сообщить, – что был в тюрьме или на Тибете или окончательно порвал с какой-то якобы известной актрисой. Я не видел Филиппа уже больше года.

- Надеюсь, он приедет, – говорю я. – Он сам ужасно расстроится, если не успеет.

- Кстати, раз уж зашла речь о младших братьях-неудачниках... Как развивается твоя греческая трагедия?

Венди намеренно бестактна, и это бывает порой забавно, даже очаровательно, но она с легкостью, сама того не замечая, преступает грань между грубоватой шуткой и жестокостью. Обычно я отбиваюсь довольно умело, но последние несколько месяцев измотали меня вконец, и на достойную оборону сил уже нет.

- Мне пора, - говорю я, отчаянно пытаюсь скрыть, что моя жизнь разбита вдребезги.

- Господи, Джад, ты обиделся? Но мне же не все равно!

- Спасибо за участие.

- Ага, и тебе слова не скажи, все в штыки! Мне этого с Барри хватает.

- Короче - скоро увидимся.

- Ладно, не хочешь - не надо, - цедит она с отвращением. - До свиданья.

Я жду, но коротких гудков все нет.

- Ты еще тут? - наконец спрашивает она.

- Нет. - Я вешаю трубку и представляю, как она шмякает телефон об стол и матерится, матерится без остановки.

Среда

Глава 2

Джен подруливает на своем бежевом внедорожнике, как раз когда я готовлюсь к двухчасовому путешествию в Элмсбрук. Она выскакивает из машины прежде, чем я успеваю смыться. Я не видел ее довольно давно, не отвечал на ее звонки и ни на минуту не переставал о ней думать. А вот и она сама: выглядит, как всегда, безупречно, в обтягивающем спортивном костюме, волосы – дорогого светло-медового оттенка, уголки губ неуловимо ползут вверх – сейчас Джен улыбается робко, точно маленькая девочка. Мне известны все ее улыбки, известно, что они означают и к чему ведут.

Беда в том, что каждый раз, когда я вижу Джен, я мгновенно вспоминаю, как увидел ее впервые – в университетском городке, на раздолбанном красном велосипеде: длинные ноги крутят педали, волосы вьются по ветру, лицо раздумянилось... На кой черт это вспоминать, когда встречаешься с почти бывшей женой? Без пяти минут бывшей. Один шаг – и бывшей. Авторы прикладных книжек и веб-сайтов из серии “Помоги себе сам” пока не придумали, как назвать супругов, толкущихся в предбаннике, то бишь в чистилище перед судом, на котором официально объявят, что их жизнь покатила в тартарары... А еще при виде Джен на меня накатывает стыд. Не потому, что она таки выяснила, в какой дыре я живу, а потому, что, с тех пор как я съехал из дома, ее вид вызывает у меня только одну ассоциацию: точно я, остановившись на светофоре, засунул одну руку в штаны, а другой ковыряю нос. И смотрю порнуху. И меня застукали.

– Привет, – говорит Джен.

Я кидаю чемодан в багажник.

– Привет.

Мы прожили вместе девять лет. Теперь мы говорим друг другу “привет” и не смотрим в глаза.

– Я же просила тебя перезвонить. На автоответчике.

– Я был занят.

– Не сомневаюсь.



От ее ироничного тона у меня всегда возникают два желания одновременно: целовать ее в засос и душить, пока не посинеет. Впрочем, сейчас ни то ни другое неуместно, поэтому остается лишь оглушительно захлопнуть багажник.

- Джад, нам надо поговорить.

- Неудачный момент.

Оттеснив меня к водительской дверце, она облокачивается на машину и озаряет меня самой лучезарной из своих улыбок, той самой, из-за которой – и она об этом знает – я всегда готов был влюбляться в нее вновь и вновь. Но на этот раз она просчиталась. Теперь эта улыбка напоминает мне обо всем, что я потерял.

- Ну почему нам нельзя остаться друзьями? – произносит она.

- Ты спишь с моим боссом. Это довольно веская причина.

Она закрывает глаза, призывая на помощь все бездонное терпение, которое требуется, чтобы иметь со мной дело. Помню, как я целовал эти веки, когда мы, так и не оторвавшись друг от друга, уплывали в сон и ее ресницы трепетали под моими губами, словно крылья бабочки, а легкое дыхание щекотало мне подбородок и шею.

- Ты прав, я не святая, – говорит она, всем своим видом показывая, что я кругом не прав, а она святая, но ей скучно со мной спорить. – Мне было очень плохо, и от желания снова стать счастливой я поступила непростительно. Я разрушила нашу жизнь, и ты меня за это ненавидишь. Только тебе роль жертвы не к лицу.

- У меня все в порядке.

- Ага, у тебя все отлично.

Джен выразительно смотрит на обшарпанный домишко, где я снимаю теперь комнату в подвале. Сооружение неказисто, словно его нарисовал ребенок: треугольник нахлобучен на квадрат, криво уложенные кирпичи, одинокое окошко, входная дверь. Тут вся округа в таких развалюхах. Это вам не хорошенький домик в колониальном стиле, на который я угрохал все свои

сбережения и где Джен теперь проживает совершенно бесплатно да еще совокупляется на моей кровати с чужим мужиком.

Подвальчик я снимаю у супругов-китайцев средних лет по фамилии Ли, которые существуют в вечной, ничем не нарушаемой тишине. Я никогда не слышал, чтобы они разговаривали. Муж проводит в гостиной сеансы акупунктуры, жена трижды в день подметает дорожку перед домом соломенной метелкой, похожей на театральный реквизит. Я засыпаю и просыпаюсь под яростное шарканье соломин об асфальт. В остальное время хозяев не видно, и я часто задаю себе вопрос: зачем им понадобилось переезжать в Америку? В Китае наверняка полно больных с межпозвоночными грыжами, да и мусора хватает.

- Ты не пришел на встречу с нашим "миротворцем".

- Он мне не понравился. Он на твоей стороне.

- Глупости. Ему вообще все по фигу.

- Кроме твоих сисек.

- Бога ради, Джад, это просто смешно!

- Ну, о вкусах, как известно, не спорят.

И так далее. Можно было бы привести нашу беседу целиком, но все в ней известно заранее: это диалог двух людей, чья любовь переродилась в нескончаемые перестрелки из начиненных ядом гранатометов.

- Я не готова разговаривать, когда ты такой. - Джен сердито отходит от машины.

- Я всегда такой. Уж какой есть.

Мне хочется крикнуть: У меня умер отец! Но я не стану, потому что Джен заплачет, а если она заплачет, то я скорее всего тоже, и тогда она найдет повод просочиться ко мне в берлогу, а я не хочу ее пускать. Ее сочувствие - троянский конь. Я еду домой - хоронить отца, воевать с родными, - и, по-хорошему, она

должна бы ехать туда со мной, но она мне больше не жена. Вообще-то люди женятся, чтобы иметь союзника против своих родственничков, а мне на этот фронт предстоит ехать одному.

Джен печально качает головой, и я вижу, как подрагивает ее нижняя губа, как набухает слеза в уголке глаза. Я не могу обнять ее, любить, целовать, трахать, даже – как выяснилось – не могу обойтись без злобной перепалки на первых минутах разговора. Зато я по-прежнему умею ее обидеть, и на данном этапе придется этим удовлетвориться. Насколько было бы легче, не будь она так чертовски красива, с этой литой гладкостью тела, медовостью волос, распахнутостью глаз. И не будь она так беспомощна. Потому что даже сейчас, после всего, что она натворила, что-то в ее глазах просит: “Защищай меня! Оберегай!” И мне хочется защитить ее во что бы то ни стало, хотя я прекрасно понимаю, что защищать на самом деле нужно меня самого. Насколько было бы проще и легче, не будь она Джен. Но она – Джен, и в моем сердце, на месте прежней чистой любви, зияет яма, полная змеиной ненависти, ярости, отторжения и – темной, извращенной любви, куда более мучительной, чем все остальное вместе взятое.

– Джад.

– Мне пора. – Я открываю дверцу машины.

– Я беременна.

В меня никогда не стреляли, но подозреваю, что ощущения сходные: сначала, на долю секунды, пустота, а потом боль догоняет пулю. Джен уже была однажды беременна. Тогда она плакала, целовала меня, и мы, как идиоты, танцевали в ванной комнате. Но наш ребенок умер в утробе: пуповина завязалась узлом за три недели до родов.

– Поздравляю. Уверен, что Уэйд будет чудесным отцом.

– Я понимаю, тебе тяжело это слышать. Но я хотела, чтобы ты узнал от меня, а не от кого-то еще.

– Спасибо. Узнал.

Я сажусь за руль. Она встает перед машиной, чтобы я не мог сдвинуться с места.

– Джад! Скажи хоть что-нибудь. Пожалуйста.

– Сказать? Иди на хрен, Джен! Катись! Надеюсь, ребенку Уэйда повезет больше, чем моему. Теперь мне можно ехать?

– Джад... – произносит она упавшим, дрожащим голосом. – Неужели ты меня так ненавидишь?

Я смотрю на нее в упор и отвечаю со всей искренностью, какую могу изобразить:

– Да. Ненавижу.

И в этот миг я снова ее люблю. То ли смерть отца окончательно подорвала мои нервы, то ли Джен как-то по-особому вздрогнула от моих слов, но боли, мелькнувшей в ее зеленых глазах-омутах, оказалось достаточно. Я снова ее люблю.

### Глава 3

Все браки разваливаются одинаково, с небольшими вариациями. Мой – со “скорой помощью” и тортом со свечками.

Браки вообще имеют свойство разваливаться. Причин много, но никто, в сущности, не понимает, отчего это происходит. Мы поженились совсем молодыми. Возможно, в этом и была наша ошибка. В штате Нью-Йорк можно жениться раньше, чем тебе разрешат легально выпить рюмку текилы. Мы, конечно, знали, что дети в Африке голодают, а брак иногда кончается разводом. И то и другое было печально, но к нам никакого отношения не имело. Мы не сомневались, что у нас-то все окажется иначе. Огонь нашей любви всегда будет жарок, мы всегда будем друг для друга лучшими друзьями, которые к тому же трахаются каждый вечер до умопомрачения. Нам не грозит скука и самоуспокоенность, мы останемся молоды телом и душой, поцелуи наши будут жадными и долгими, животы плоскими, мы всегда будем ходить держась за

руки, болтать шепотом до рассвета, садиться в кино на последний ряд и любить, любить, любить друг друга, покуда нас не скрутит артритная немощь.

– А когда я стану старая, ты меня не разлюбишь? – спрашивала Джен. Мы лежали в полудреме на продавленном матрасе в ее комнате в общежитии, окруженные терпким потным запахом нашего секса. Она обыкновенно лежала на животе, а я – на боку, лениво пробегая пальцем по ее позвоночнику до ложбинки, за которой вздымалась ее фантастическая задница. Как же я гордился этой задницей, когда мы только начали встречаться! Я распахивал перед Джен двери и пропускал ее вперед, только чтобы еще разок увидеть, как эта попка подрагивает передо мной, аккуратная, соразмерная, туго обтянутая джинсами. И, глядя на нее, думал: рядом с такой задницей можно прожить жизнь и умереть. Я считал ее моим личным достоянием, мечтал отвезти ее домой и познакомить с родителями.

– Когда грудь у меня обвиснет, зубы выпадут и вся я высохну и сморщусь, как черносливина, ты будешь меня любить? – продолжала Джен.

– Конечно буду.

– Не променяешь на молодую?

– Конечно променяю. Но буду терзаться угрызениями совести.

И мы хохотали, потому что даже представить такого не могли.

Любовь превратила нас в нарциссов, которые неустанно и беспечно любовались собой, болтали о том, как они близки и как совершенен их союз, точно никто и никогда прежде не достигал такой гармонии. Мы просуществовали в нирване довольно долго: пара тошнотворно-приторных, непробиваемых идиотов, которые без конца пялились друг на друга, покуда все вокруг просто радовались жизни. Когда я вспоминаю нашу непроходимую глупость, нашу отрешенность от мира и поджидавшего за углом будущего, я хочу подойти к самому себе, тощему юнцу, гордому своей постоянной эрекцией, и дать ему в зубы.

А еще я хочу рассказать ему о том, как медленно, но верно и сам он, и любовь всей его жизни станут обыденными, а секс – по-прежнему вполне качественный – станет таким привычным, что его можно будет променять на интересную

книжку, телепередачу или ночной перекус. О том, как он и его любимая позабудут, что раньше старались пукать потише, и перестанут запираить за собой дверь в туалет; как он поймет, что не способен больше рассказывать друзьям анекдоты в ее присутствии, потому что весь арсенал его анекдотов она уже много раз слышала; как она не сможет больше смеяться над его шутками, хотя остальным они по-прежнему кажутся смешными; как она по вечерам начнет проводить все больше и больше времени, болтая с подругами по телефону. Как смертельно будут они ссориться по пустякам: из-за некстати закончившегося рулона туалетной бумаги или перегоревшей лампочки, из-за остатков овсянки, которые засохли в раковине, из-за неправильно заполненной чековой книжки. Как появится в их отношениях негласный счет, и каждый будет определять накопленные и проигранные баллы по своей сложной шкале. Мне хочется, непременно хочется напугать этого самодовольного индюка, появиться перед ним таким диккенсовским Призраком Рождества – и отбить у него охоту жениться. Никаких матримониальных поползновений! Обойдешься! Хватит с тебя текилы. А потом я приоткрою ему будущее, и он увидит свою физиономию...

...когда я вошел в собственную спальню и застал Джен в постели с другим.

К этому моменту я, по идее, уже должен был что-то заподозрить. Измена, как и любое другое преступление, порождает множество улики, улики – побочный продукт измены, как кислород у растений или говно у людей. Так что я просто обязан был все это почуять или вычислить и избежал бы таким образом жуткого срама, не стал бы свидетелем прелюбодеяния собственной жены. Улика-то наверняка накопилось немало, словно непрочитанных электронных писем. Нет чтоб прочесть! Незнакомый номер на распечатке счета за ее мобильник; телефонный разговор, прерванный на полуслове, едва я вошел в комнату; непонятная квитанция; едва заметный засос на шее, автором которого, по идее, должен был быть я, но об этом не помнил... а еще ее вдруг резко снизившаяся потребность в сексе... Уже потом, после, я каждый божий день перебирал в памяти эпизоды последнего года нашего брака, точно записи с видеокамер после ограбления банка, и удивлялся, какого черта я был так туп, почему мне нужно было застучать их в койке, чтобы понять, что происходит. Кстати, даже тогда, наблюдая, как кровать ходит ходуном под их страстные стоны, я тоже не сразу сообразил что к чему.

Потому что, даже если ты обожаешь секс, стать свидетелем этого дела странновато. В чужом половом акте есть что-то отталкивающее. Природа это

учла и поработала над фундаментальными основами совокупления: сами мы, занимаясь сексом, практически не можем наблюдать за собой со стороны. Оно и к лучшему, потому что на настоящий, неприукрашенный трах смотреть не так уж приятно – тут тебе и грязь, и пот, и волосы во рту, и стертая докрасна, вывернутая наизнанку плоть, и зияющие дыры, и вздыбленный мокрый член. А сама жестокость совокупления! Его примитивность и грубость как постоянное напоминание о том, что все мы – скоты, что главное для нас – не потерять свое место в пищевой цепи, вовремя поесть, поспать и потрахаться, пока не появится кто-то побольше и посильнее и не сожрет нас с потрохами.

Поэтому, когда в тридцать третий день рождения Джен я пришел домой раньше времени и обнаружил ее на кровати, с раскинутыми ногами, а над ней – широкую, рыхловатую мужскую задницу, которая то напрягалась, то опадала в едином для всего сущего ритме совокупления, и руки этого мужика поддерживали и приподнимали ее попку с каждым толчком, а пальцы Джен впивались ему в спину, оставляя там белые вмятины, я увидел это сразу, но переваривал довольно долго.

Сначала я даже не понял, что на кровати лежит именно Джен. Я знал только, что это моя кровать и трахаться на ней имею право только я. Может, это не мой дом? Нет, не годится. На тумбочке с моей стороны кровати стоит фотография Джен в свадебном платье, юной и грациозной, как фарфоровая статуэтка. Значит, дом все-таки мой. Что уже неплохо, поскольку впереться к соседям в спальню – ошибка слишком серьезная, тут пора обследовать мозги и ждать от медиков самого худшего приговора. Доведись мне и вправду застать соседей посреди дня в койке, точно собак на случке, боюсь, не помогли бы никакие самые горячие извинения, я бы просто до конца жизни не смог посмотреть им в глаза, не говоря уж о том, чтобы попросить их вынимать мою почту из ящика, когда я уеду в отпуск. К тому же нашим соседям, чете Бауин, было уже под семьдесят, и мистер Бауин продолжал обжираться, стремясь к третьему инфаркту. Даже если он сохранил потенцию, в чем лично я – глядя на его непомерный желеобразный живот – сильно сомневаюсь, непрошеное вторжение во время акта наверняка привело бы к остановке сердца. При таких обстоятельствах все-таки лучше прийти домой, а не к соседям.

Впрочем, застать подобную картину дома тоже не самый приятный сценарий. Сценариев, собственно, могло быть несколько, но наиболее очевидный напрашивался сам: женщина, которая извивается на кровати в луже собственного пота и вонзает наманикюренный указательный пальчик в анус

своего любовника, как стрелу в мишень, – это моя жена Джен.

Разумеется, я знал это с самого начала, как только переступил порог. Но разум, оберегая меня от мгновенного осознания, подкидывал разные зацепки – отвлекал, в сущности, – а подкорка тем временем готовилась отразить атаку этой страшной правды, чтобы я не свихнулся. Поэтому моя первая мысль была вовсе не о том, что Джен с кем-то трахается и у меня больше нет семьи или что-нибудь в этом роде, а то, что Джен никогда не сует палец мне в задницу во время секса. Не то чтобы я этого жуть как хотел, скорее наоборот, особенно теперь, когда я воочию убедился, где побывал этот пальчик. Мы с Джен время от времени разнообразили нашу жизнь: меняли позы, покупали разные штучки в секс-шопах, слизывали друг с друга крем и варенье, но я определенно принадлежу к той категории мужчин, которые не любят вмешивать в это дело свой анус. Хотя тех, кто любит, не осуждаю.

Осуждал я только мужика, который насадил задницу на указательный палец моей жены, глубоко, на две фаланги... А соседний палец она совсем недавно, на прошлой неделе, показала на шоссе парню, который нас подрезал. А еще через палец поблескивали бриллиантики на перстне, который я подарил ей на пятую годовщину нашей свадьбы... Короче, мужика этого я сильно осуждал. Так сильно, что он успел еще пару раз всунуть и высунуть, прежде чем до меня дошло, что это известный радиоведущий Уэйд Буланже. А значит, он не только трахает мою жену и ловит кайф от деликатной стимуляции задницы, но – в довершение всего – еще и является моим боссом.

Уэйд ведет на музыкальном радиоканале WIRX популярную утреннюю программу под названием “Вставай, мужик! – С Уэйдом Буланже”. Болтает про секс, машины, спорт и деньги. Но в основном – про секс. Консультируется в прямом эфире с порнозвездами, стриптизершами и проститутками. Принимает звонки от мужчин и женщин, которые во всех подробностях описывают свою сексуальную жизнь. Он в ответ рассказывает, как пукнул и сколько очков поставил себе за этот пук. Одиноким, изголодавшимся по сексу мужчинам он командует: “Вставай!” Этот девиз мелькает всюду: на футболках, кофейных кружках, на стикерах, которые народ лепит на бамперы автомобилей. Уэйд – профессиональный козел, работающий на двенадцати рынках одновременно. Рекламодатели, точно покорные овцы, выстраиваются в очередь.



Я не критикую, не наезжаю. Я работал у него продюсером. Договаривался с гостями. Руководил девчонками, которые отбирают звонки для эфира, и ребятами, которые ведут веб-сайт. Встречался с начальниками радиостанции по поводу формата и спонсорства. Вел переговоры с юристами, кадровиками и отделом рекламы. Заказывал обеды. Заменял матерщину гудочками.

Сразу после колледжа я устроился ассистентом на маленькую местную радиостудию, а Уэйд только начинал карьеру ведущего. И я ему чем-то понравился. Потом его продюсера уволили из-за конфликта с министерскими чиновниками, и Уэйд нанял меня. После эфира мы часами просиживали в ресторанах на казенные деньги, мешали мартини с водкой и сочиняли новые репризы. Он прозвал меня своим “гласом разума”, ценил мое мнение и взял с собой, когда перешел с местного вещания на WIRX. Он даже пригрозил уйти, когда его программа вошла в синдикат и руководство решило не продлевать мой контракт.

Уэйд высок, полноват, у него темные вьющиеся волосы и раздвоенный подбородок, похожий на миниатюрную задницу. Зубы такой белизны, какой в природе просто не бывает. В свои сорок лет он по-прежнему поддерживает школьные и университетские связи, по-прежнему цокает на каждый проплывающий мимо женский бюст и по-прежнему называет грудь титьками. Такой типаж. Его легко представить душой студенческого братства: вот под гром аплодисментов он на спор глотает галлонами пиво, вот издевается над салагами-новичками, вот на вечеринке подсыпает экстази в красные пластиковые стаканчики и подносит их хорошеньким первокурсницам.

Разве можно заранее подготовиться к тому, что однажды войдешь в спальню, а там твоя жена трахается с другим? Это относится к разряду запредельных событий, которые тебе, может, и доводилось вообразать, но невнятно, неконкретно, как собственную смерть или выигрыш в лотерею. Поэтому никто не знает, как на это реагировать. Я так попросту впал в ступор: стоял и разглядывал лицо Джен, пока Уэйд размеренно гулял взад-вперед, точно поршень. Голова Джен была откинута назад, подбородок смотрел в потолок, на Господа, она тяжело дышала открытым ртом и жмурилась от удовольствия. Я пытался вспомнить, была ли она когда-нибудь так увлечена, так порочна и одновременно прекрасна, когда мы занимались любовью. Трудно сказать. Я ведь никогда не смотрел на нас со стороны. К тому же мы давно, целую вечность, не ложились в постель среди бела дня, а различить выражение лица партнерши в

темноте не так-то просто. И тут Джен застонала – долго, не сдерживаясь, – начала с низкого глухого урчания, а потом разом перескочила через пару октав, и стон перешел в визг раненого щенка. Могу поклясться: таких звуков я от нее не слышал никогда. На исходе стоны ее руки скользнули по спине Уэйда вниз: Джен уцепились за его ягодицы, чтобы втянуть его в себя еще сильнее и глубже.

И тут я задумался: как же выглядит член Уэйда Буланже?

А именно: насколько он больше моего? Толще? Тверже? Может, он немного изогнут и поэтому достает до таких мест, куда мне не добраться? Может, он трахает ее в эти недоступные для меня глубины ее плоти и поэтому она так кричит? Или Уэйд просто более искусный любовник? Может, он освоил тантрическую технику? Он же переспал с таким количеством шлюх и порнозвезд – наверняка поднабрался опыта. С порога, откуда я на все это взирал, Уэйд производил впечатление человека, знающего свое дело. Но себя-то я никогда со стороны не видел. В отличие от других пар, мы с Джен никогда не снимали себя на видео. А жаль. Просматривают же игроки свои матчи. Сейчас было бы с чем сравнить. Допустим, мне кажется, что я выгляжу вполне убедительно, не хуже Уэйда, но... Этот щенячий визг... За десять лет мы с Джен любили друг друга по-всякому, но так она никогда не стонала и не визжала. Я бы запомнил.

Внезапно я поймал себя на том, что прикидываю, как буду рассказывать об этом Джен, моей Джен, как опишу ей эту фантасмагорию сегодня вечером, когда вернусь домой. Но я уже дома. И моей Джен больше не существует, она растворилась в тумане, прямо у меня на глазах. А эта новая Джен – стонущая, визжащая, потная, сующая палец мужику в анус, – зачем ей что-то рассказывать? Пожалуй, она сама способна меня просветить.

По животу у меня, точно микроскопические иголки, пробежали мурашки – первый признак ужаса, который зрел внутри меня, в черных глубинах моих пылающих кишок. Он еще не созрел окончательно, но я уже чуял жар, поднявшийся снизу до груди, подобно лазерному пучку, и знал, что как только мир снова стронется с места, этот жар расцветет, вспыхнет и испепелит меня дотла.

А они все трахались, словно шли на рекорд, вверх-вниз, туда-сюда, внутрь-наружу, стон-визг... а еще были звуки, на которые обычно не обращаешь внимание: хлоп, чпок, пук, бульк – все механические звуки полового акта, а в воздухе висел густой резкий запах их пота и секса. Я же все стоял, дрожал как

осиновый лист и не решался их остановить. Потом Уэйд задрал левую ногу Джен, перекинул ее себе через голову и опустил на правую, одновременно повернув Джен на бок. И не сбился с ритма. Маневр, если не вынимать член, совсем непростой, этакая фигура высшего секс-пилотажа, но легкость, с которой он это проделал, и то, как Джен поняла его с полупамятка, свидетельствовали об одном: они вместе не впервые. И тут я спросил себя: а давно ли это, собственно, началось? Месяц назад? Полгода? Сколько поз они за это время освоили? Что в моем браке правда, а что вранье? Джен мне изменяет. Джен, меняя позы, трахается с Уэйдом Буланже в нашей постели, на смятых простынях от Ральфа Лорена, которые она купила в магазине “Нордстром”, когда мы переехали в этот дом. Моя жизнь, жизнь, которую я понимал, к которой привык, кончилась.

Думаю, сейчас самое время добавить одну деталь: в руках у меня был огромный именинный торт.

Я ведь сбежал с работы пораньше как раз за этим клубнично-шоколадным чизкейком – ее любимым тортом. Джен в свой день рождения на работу обычно вообще не ходила, прикидывалась больной. Ближе к вечеру мы собирались выйти в ресторан, но я приехал пораньше, с тортом. Хотел ее удивить. Подъехав к дому, я, не выходя из машины, снял с торта крышку, украсил его тридцатью тремя красными свечками и, по обычаю, добавил одну на счастье. В прихожей я зажег свечки специально купленной длинной зажигалкой для духовок. Я слышал, что Джен наверху, в спальне, и направился напрямик туда – медленно, на цыпочках, крадучись, точно вор, и почти не дыша, чтобы ни одна свечка не погасла по дороге. Пока я пялился на Уэйда с Джен, свечки наполовину растаяли, и на идеально ровной белой глазури расцвели восковые кляксы – точно пятна крови на снегу. Если бы все шло по плану, Джен давно бы эти свечки задула, сняла бы пальцем кусочек глазури, слизнула его, поцеловала меня сладкими губами, и мы стали бы жить-поживать. Долго и счастливо. Но стряслось непредвиденное, и торт был непоправимо испорчен.

Я знал, что непременно стану мучить себя дурацкими, ничего не решающими вопросами. Как она могла? Когда это началось? Почему? Они в самом деле любят друг друга или стремятся к острым ощущениям, которые дает адюльтер? Интересно, какой ответ мне больше понравится?

В тот момент никакие ответы мне были не нужны. Застав собственную жену в постели с другим, проще успокоить душу выстрелом из “магнума” 357-го калибра, а не научными изысканиями. Но я знал, что вопросы неизбежны. Так уж положено. Меня втянули в мыльную оперу, и – хочешь не хочешь – надо следовать сценарию. Однако там, в спальне, меня мучил только один вопрос, вопрос жизни и смерти, и ответ на него я хотел получить безотлагательно. Вопрос мой был самым примитивным и звучал так: что будет, если запулить в задницу Уэйда Буланже этим клубнично-шоколадным тортиком с горящими свечками – тридцатью тремя и одной на счастье?

Оказалось, будет круто.

После этого случилось много всего. Быстро и сразу.

Во-первых, Уэйд заорал. Причем вовсе не потому, что задницу его украшало клубнично-шоколадное месиво, хотя это ли не причина заорать? Уэйд заорал – как я потом узнал от одного болтливого санитаря со “скорой”, – потому что перед сношением намазал член кремом, который, согласно рекламе в мужском журнале, должен был превратить его в супермена и который, в качестве побочного эффекта, оказался крайне легко воспламеняющимся. В итоге благодаря тридцати трем свечкам плюс одной на счастье яйца Уэйда вспыхнули мгновенно. На креме не было никаких предостережений, вероятно, потому что большинству мужчин обычно не приходит в голову подвергать свои половые органы воздействию открытого пламени. Итак, Уэйд заорал и начал кататься по кровати, прикрывая полыхающую промежность. Ко всему прочему, я запулил в него тортом буквально за секунду до эякуляции, поэтому теперь он, корчась от боли, извергал фонтаны подкопченной спермы.

Уэйд вопил, горел и, обжигаясь, кончал себе в руки. Джен тоже завопила и откатилась в противоположном направлении. Причин вопить у нее было несколько. Во-первых, резко выдернув из нее член, Уэйд заодно стукнул ее лбом в переносицу – у нее даже слезы от боли потекли. И сквозь калейдоскопическую призму этих слез она вдруг увидела меня, стоящего в ногах кровати, перепаханного клубникой и шоколадом. Она вскрикнула от стыда и неожиданности и кулем свалилась с кровати, а там как раз валялся дорогуший ботинок Уэйда, и каблук впился ей в бедро.

Я тоже заорал. Потому что мне выпали испытания почище, чем паленые яйца или сломанный нос (кстати, позже выяснилось, что нос Джен и вправду оказался сломан). Это загаженное помещение недавно было моей спальней, эта постель, испачканная тортом, потом и спермой, недавно была моей постелью; эта женщина на полу – голая, помятая, жалкая – недавно была моей женой. За несколько секунд я потерял все.

А потом мы разом замолчали, и наступил один из тех моментов по-настоящему мертвой тишины, когда слышно, как вертится у тебя под ногами планета, а ты стоишь, и у тебя постепенно начинает кружиться голова. В воздухе висел запах секса и горелых волосков. Он наполнял комнату все гуще, точно при утечке газа. Зажги кто-нибудь спичку, клянусь, раздался бы взрыв.

– Джад! – крикнула Джен, не поднимаясь с пола.

Не переставая стенать, с глазами, круглыми от страха за свои яйца, которые, возможно, понесли непоправимый ущерб, Уэйд скатился с кровати и, пулей влетев в ванную, захлопнул за собой дверь. Вообще-то голым мужикам лучше не бегать – видок тот еще. Из-за двери послышался шум воды и отрывистые гортанные проклятья Уэйда.

Я взглянул на голую Джен, уже не лежавшую, а сидевшую на полу, спиной к тумбочке. Она всхлипывала, притянув коленки к груди, расплющив ее в два блина. Мне захотелось опуститься рядом на пол, притянуть ее к себе, обнять. Я поступил бы так в любых других обстоятельствах. Только не в этих. Я даже сделал шаг в ее сторону, но остановился. С тех пор как я вошел в спальню, прошла всего пара минут, и мой разум еще не приноровился к этому враз изменившемуся миру, где мне уже не суждено утешать Джен, поскольку я ее ненавижу. Во мне бурлили устаревшие, отжившие свое рефлексы и, одновременно, импульсы злобной ярости, и я совершенно не представлял, что следует делать дальше. Больше всего на свете мне хотелось дать деру, но оставить этих двоих в моем доме означало безоговорочную капитуляцию. Меня снедало разом множество желаний: дать в морду, забиться в нору, убежать за тридевять земель, зареветь в голос, выдавить Уэйду глаза, обнять Джен, задушить Джен, убить себя, лечь спать и проснуться двадцатилетним... Я был на грани безумия.

Джен смотрела на меня покрасневшими от слез глазами, а из носа у нее сочилась кровь вперемешку с соплями и капала с подбородка на грудь. Мне было

ее жалко, и я себя за это ненавижу.

Тут я услышал собственный голос:

- Поверить не могу!

- Прости. - Она, дрожа, уткнулась лицом в колени.

- Оденься. И сделай так, чтобы духу его в моем доме не было.

Вот и весь разговор. Девять лет брака псу под хвост. И сказать-то особо нечего. Я вышел из спальни, захлопнув за собой дверь с такой силой, что внутри стены что-то оборвалось и с шумом полетело вниз. В коридоре я потерянно остановился и, наконец выдохнув, осознал, что все это время практически не дышал. Потом я пошел вниз - чтобы переколотить весь фарфор, доставшийся Джен от бабушки. За этим занятием меня застали полиция и "скорая".

- Что теперь будет? - спросила Джен.

Мы стояли на кухне, на осколках сервиза, и пытались разговаривать.

- Молчи.

- Я понимаю, для тебя это сейчас пустой звук, но мне правда очень стыдно, даже не могу описать, как стыдно...

- Умолкни.

Разговор не клеился.

- Мне нет прощения, я знаю... Но мне было так плохо, так долго было плохо, я себя чувствовала такой потерянной, что...

- Ты можешь закрыть свой поганый рот, в конце концов? - заорал я, и она вся сжалась, точно боялась, что я могу ее ударить. Нос у нее распух довольно

сильно, и в том месте, где Уэйд боднул ее лбом, постепенно растекалось мерзкое сине-лиловое пятно. Когда слух о наших бедах дойдет до соседей, этот нос станет предметом бесконечных пересудов кумушек за чашкой кофе с обезжиренным молоком.

Я закрыл глаза, потер виски.

- Я задам тебе сейчас несколько вопросов. Отвечай коротко и ясно. Поняла?

Она кивнула.

- Давно ты трахаешься с Уэйдом?

- Джад...

- Отвечай на вопрос!

- Чуть больше года...

После событий, случившихся за последние полчаса, я должен был бы попривыкнуть к неожиданностям. Но больше года! Это не случайность, не мимолетное увлечение, это – связь. Это значит, что у Джен с Уэйдом уже была годовщина. В нашу первую годовщину мы сняли комнату в дешевом мотеле в Ньюпорте. У Джен было новое нижнее белье нежно-сиреневого цвета, и я прочитал ей глупейшее, самолично написанное мною стихотворение, а она расплакалась, и щеки ее еще долго были солоноваты на вкус. Интересно, как отметили свою первую годовщину Джен с Уэйдом? И кстати, от какого момента они отсчитывали? От начала флирта? От первого поцелуя? Первого секса? Первого “я тебя люблю”? Джен сентиментальна и неизменно аккуратна с датами, так что все вехи их совместной жизни наверняка отмечены на ее внутреннем календаре.

Значит, весь последний год Джен при каждом удобном случае прыгала в койку с Уэйдом Буланже, моим несколько располневшим боссом-суперменом. Невообразимо! Так же невообразимо, как если б она оказалась серийным убийцей. Пусть лучше убийцей! Я бы пришел на суд, мрачно покивал, услышав от присяжных “виновна”, дал интервью в желтую прессу и занялся своими делами.

Во всяком случае, я спал бы в своем доме на своей кровати.

- Чуть больше года, - повторил я. - Выходит, ты - настоящая обманщица?

- Да... научилась. - Она посмотрела на меня с некоторым вызовом.

- Ты его любишь?

Джен отвела глаза.

Этого я не ожидал. Оказалось больно.

Джен вздохнула - протяжно, надрывно, преисполненная жалости к самой себе. А я тем временем размышлял, не перерезать ли ей горло осколком фарфора.

- У нас были проблемы задолго до того, как в моей жизни возник Уэйд.

- Были. Но с нынешними не сравнить.

Возможно, она еще что-то говорила, только я перестал слушать. Прошел через кухню, с хрустом раздавив кусок блюда, распахнул дверь так, что застонали пружины и петли, а потом послышалось шипение - это мое тело выдохнуло и вдохнуло. Я учился дышать заново.

Ну и куда, спрашивается, ехать?

Так и не включив зажигание, я сидел в машине, парализованный собственной нерешительностью, вцепившись побелевшими пальцами в руль. Нет ничего печальнее, чем сидеть в машине, когда тебе некуда ехать. Нет, пожалуй, еще печальнее - сидеть в машине возле дома, где прожил почти десять лет и который вдруг, в одночасье, перестал быть твоим домом. Ведь обычно, когда тебе некуда ехать, всегда можно поехать домой. Но Джен не просто мне изменила, Джен лишила меня дома. Жаркая, красная ярость вскипела в моем бесцветном страхе, точно кровь в воде. Как хочется задушить Джен - чтобы она задергалась и затихла под моими дрожащими пальцами. А Уэйда можно зарезать кривым ножом, дикари держат такие ножи специально для белых



людей: одним движением вскрывают грудину и поднимаются вверх, чтобы вынуть все жизненно важные органы, а вязкая бордовая кровь со сгустками медленно, побулькивая, вытекает изо рта врага. Изо рта Уэйда. Себя я приговорил к театральному самоубийству: разгонюсь на машине, пробью парашют на мосту и рухну в Гудзон. Пусть Джен чувствует себя виноватой по гроб жизни, пусть картина моей страшной смерти мучит ее так же, как меня отныне будет мучить картина ее совокупления с Уэйдом. Нет, бесполезно. Ничего ее мучить не будет. Она тут же отправится к психоаналитику – возможно, к тому же самому фрейдисту-извращенцу, который норовил поладить ее на каждом сеансе и которого она поэтому бросила. Уж он-то ее убедит, что она ни в чем не виновата, что она на самом деле – жертва, что она заслужила право снова быть счастливой, и моя смерть окажется напрасной. Лучшее, на что тут можно надеяться: что она изменит Уэйду с этим сексуально озабоченным психоаналитиком. Впрочем, измена ли это? Ведь Уэйд ей не муж, а любовник. Я в этих хитросплетениях был новичком и никаких правил толком не знал.

В зеркало заднего обзора я видел нижнюю часть фасада, нижние углы огромного венецианского окна в гостиной, границу между бетонным фундаментом и кирпичной кладкой... За этими стенами – весь смысл, весь итог моего земного существования. Неужели я не вправе выйти из машины, открыть парадную дверь и потребовать все, что мне принадлежит? Летом тяжелую ольховую дверь всегда немного заедает, ручку надо одновременно повернуть и отжать книзу, да еще слегка навалиться плечом. Ключ у меня при себе, побрякивает в зажигании вместе со всей остальной связкой. Пора ехать. Но куда?

Какого черта?! Что происходит в моей жизни?!

Я взглянул на часы – “Ролекс Космограф Дайтона” из белого золота, который Джен подарила мне к тридцатилетию. Меня вполне устраивали мои старые часы, надежной фирмы “Ситизен”, я даже скучал по ним, когда пришлось надеть эту тяжеленную, кичливую штукину. Но Джен придавала атрибутике колоссальное значение. Раз поселились в дорогом пригороде – извольте соответствовать. Джен вживалась в роль дамы из среднего класса истово, как профессиональная актриса, и от меня требовала того же.

– Мы могли бы на эти деньги устроить себе шикарный отпуск, – возразил я.

– Отпуск никто не отменял, поедем, – парировала она. – Но отпуск – это эпизод. А часы – семейное достояние, они останутся потомкам.

Я был слишком молод, чтобы думать о потомках или писать завещание. От слов Джен в моем воображении возникли образы немощных, прикованных к постели стариков с желтыми, кальцинированными ногтями на ногах и истонченными, как у скелетов, запястьями. Старики эти были заживо похоронены в кельях, душных от хлорки и разлагающейся плоти.

– Такие часы стоят немерено! Как пять ипотечных выплат, – заупрямился я.

– Это подарок. – Джен раздраженно поджала губы. За ней такое в последнее время водилось.

– Подарок, за который я сам же и заплатил.

Я был женат довольно давно и по опыту знал, что слова мои несправедливы и обидны, что ничего конструктивного из этого не выйдет. Но – ляпнул так ляпнул, бывает. Даже затрудняюсь объяснить почему. Просто в браке постепенно вырабатываются стереотипы поведения. К примеру, Джен генетически не способна выдавить из себя хоть какие-нибудь слова, чтобы попросить прощения. А я иногда говорю гадости, которые на самом деле говорить не хочу. Мы принимали себя и друг друга вместе с этими недостатками, но – до поры, покуда не наступали ближнему на любимую мозоль. И тут оба начинали кровожадно мечтать о мести, и приходилось сдерживаться, чтобы друг друга не убить.

– Значит, наши деньги – это твои деньги? – возмутилась Джен. Глаза ее загорелись праведным гневом: она, без зазора и перерыва, уже вступала в новую битву. С годами Джен совершенствовала это умение, точно боксер, который не переставая молотит кулаками, чтобы предотвратить удар противника. От споров с ней у меня обычно кружилась голова.

“Ролекс” я, разумеется, надел. Собственно, это было неизбежно. Старые часы нашли последний приют в маленьком отсеке ящика с носками – рядом с ключами от старой квартиры, парой испорченных сотовых телефонов, моим студбилетом, нунчаками, сохранившимися класса с шестого, когда я увлекался ниндзя, бейсбольным мячиком, который я, когда был совсем маленьким, поймал с броска легендарного Ли Мазилли на нью-йоркском стадионе “Шей”, и другими

предметами из прошлой жизни, с давно закрытых и запечатанных ее страниц.

“Ролекс” показывал три часа дня. Мне требовалось время – все обдумать, взвесить, решить, что делать дальше. Я принялся жать на кнопки в сотовом телефоне, перебирая телефонную книгу, но уже знал, что никому не позвоню. Может, нам с Джен еще удастся помириться, а если так, друзей в это посвящать нельзя, чтобы потом нас не подняли на смех. Я понимал, что ущерб невосполним, доверие попорчено, самое святое поругано, но ведь существует мудрый стишок: “Спит жена с начальником – стану жить молчальником”. Выходит, можно смириться с чем угодно, главное, чтобы все было шито-крыто? Да и звонить-то мне некому, все друзья у нас с Джен общие. Я дернулся было позвонить матери, но отец лежал в коме, и у мамы проблем хватало. Моя жизнь перешла в фазу свободного падения. Помощи ждать было неоткуда. Где-то в глубине горла встал холодный ком, и внезапно я забыл свой гнев, забыл, что меня обокрали... Всепоглощающий, бездонный ужас одиночества объял меня и стянул все мое нутро, точно тискаами.

Я миновал крошечный деловой район Кингстона, потом вокзал и выехал к эстакаде I-87. Затормозив на обочине, долго смотрел на федеральную автостраду, на длиннющие фуры, на юркие машинки жителей пригородов, слинявших с работы пораньше, чтобы успеть до часа пик. Через пару часов все северное направление встанет в пробке. Меня тоже потянуло на север: вот выеду сейчас на шоссе, выберу полосу и – буду останавливаться только на заправках. Так, на бензине и пончиках, доберусь до штата Мэн, до какого-нибудь прибрежного городка, сниму домик и начну жизнь заново. Зимы там суровые, но я продам свой “лексус” и куплю крепкий пикап с цепями на колесах. Найду работу, может, даже связанную с физическим трудом, буду тянуть пиво в местной пивнушке, возьму из приюта одноглазого лабрадора и подружусь с рыбаками. Они станут подтрунивать над моим происхождением, может, даже в шутку прозовут меня “Нью-Йорк”. Со временем у меня появится легкий местный говорок. А еще я познакомлюсь там с женщиной, тоже приехавшей издалека, тоже сбежавшей от своего уродского прошлого. Она будет хороша собой и очень ранима, мы отличим друг друга безошибочно и влюбимся самозабвенно, очертя голову – как влюбляются только обездоленные люди. И все прочее отступит, забудется. На нашу свадьбу придет весь городок, и устроим мы ее в шатре, на газоне главной городской площади. А в кафе напротив, над рекламой фирменного блюда, вывесят приветствие молодоженам.

Но тут я вернулся к реальности. Ничего этого не будет: ни домика в Мэне, ни одноглазого лабрадора, ни хорошенькой черноглазой женщины, которой суждено меня исцелить... Какое-то время я просто сидел и оплакивал будущее, которому не сбыться. Потом развернул машину и, все еще дрожа – я так и не переставал дрожать с тех пор, как выскочил из дома, – поехал назад, в город. Я уговаривал себя, что федеральная трасса и завтра будет на том же месте, а пока надо найти жилье поближе к дому.

За последующие несколько недель не произошло ничего, чем стоило бы особенно гордиться. Я залег в спячку в подвале супругов Ли, пустив корни на шаткой кушетке, которая – если верить рекламе – называлась тахтой. В комнате пахло плесенью и стиральным порошком. В тихое время суток я слышал, как жужжит спираль в электрической лампочке, голой лампочке, освещавшей мою комнату без всякого абажура. Телевизор я смотрел практически не переставая. Душ принимал редко, отрастил бороду. Мастурбировал без всякого удовольствия. Бороде придавал форму эспаньолки. Набрал семь кило. Сочинял длинные послания, полные то гневных обличений, то жалостной мольбы, и печатал их на телефоне, покуда пальцы не начинали ныть и неметь. Я проклинал и заклинал Джен, но в конце концов стирал все написанное. Я лежал ночами без сна, глядя в потолок, а древние канализационные трубы стучали и скрежетали за тонкой перегородкой, и Джен с Уэйдом, точно порнозвезды, трахались в моем воображении в ритме этого скрежета. Бац! Бац! Бац! И вот он, оргазм, под шум спускаемой в туалете воды. Муж и жена Ли ходили туда попеременно, каждые пятнадцать минут. Господи, почему они столько писают?! По ночам, через равные промежутки времени, я слышал над головой их шаги: быстрое топотание миссис Ли, свистящее шарканье мистера Ли, поскрипывание пластикового сиденья на унитазах и, наконец, звук спускаемой воды, точно водопад за тонкой гипсокартонной стенкой подвала. Мне тридцать четыре года, я бездомный, я коротаю ночи на бугорчатой тахте в съемном подвале и слушаю, как хозяева ссут и срут, а моя бывшая жена и бывший босс кувыркаются у меня в голове. Я тонул, и до дна было рукой подать.

Глава 4

12:15

Могильщик похож на Санта-Клауса и наверняка об этом знает, ну не может не знать! Надо же умудриться, имея седую окладистую бороду и этакое плотное телосложение, надеть красно-белую куртку и припереться в таком виде копать могилу на кладбище “Гора Сион”! С другой стороны, все понятно: если с утра до вечера зарывать в землю покойников, надо как-то себя развлекать. Как? Уж как умеешь. Впрочем, сегодня, когда мы под проливным дождем хороним отца, этот персонаж, несмотря на нелепейший наряд, ведет себя крайне деловито – даром что его куртка алеет, точно кровоподтек на фоне белесого, мертвенного неба. Мы несем гроб, а он дает тихие, но четкие указания, как опустить гроб на гидравлическую раму, установленную над свежевырытой могилой. Первая пара – мы с Полом, за нами – Барри, муж Венди, напарником которого должен, по идее, быть Филипп, но он так и не объявился, третья пара – дядя Микки и его сын Джулиус, только что прилетевшие из Майами. Микки мы не видели уже несколько десятилетий – они с отцом в свое время рассорились из-за каких-то денег, вроде бы отец ему одолжил, а Микки не вернул, поэтому двоюродный братец Джулиус был для нас совершенно чужим человеком. Эта парочка похожа на загорелых гангстеров из боевика: оба в крутых фирменных, но ненужных – по нашей-то погоде! – темных очках, с напыженными волосами и одинаковыми золотыми кольцами с крупными розовыми бриллиантами.

– Правее, – командует Санта-Клаус. – Двигаемся слаженно, никто пока не опускает. Так, задние, приподнимите-ка его сантиметров на пятнадцать. Ага, хорошо. Теперь, господа, по моей команде будем опускать. Кто держит ноги – вы первые. Не резко. Берегите пальцы.

Кинорежиссеры любят снимать похороны под дождем. Скорбящие стоят в черных одеждах под огромными черными зонтами, которыми в жизни мы никогда не пользуемся, а капли падают как бы отдельно, чисто символически – на траву, на каменные надгробья, на крыши машин. Создают атмосферу. Только никто почему-то не показывает, как липнет к насквозь промокшим брюкам скошенная трава, как дождь – несмотря ни на какие зонты – молотит по голове и слизняками заползает за шиворот; как вместо того, чтобы печально размышлять об умершем, ты мысленно ползешь по собственной спине с каждой новой каплей. В кино отчего-то не видно, как вязнут в мокрых комьях выходные туфли; как вода просачивается сквозь щели в сосновых досках, из которых сколочен гроб, а оттуда сочится запах смерти и разлагающейся плоти; как куча земли, вынутая из могилы и ждущая, чтобы ее засыпали обратно, постепенно оплывает, превращается в жижу, растекается по лопате и с чавканьем падает на крышку

гроба. И вместо медленной достойной церемонии прощания все это превращается в муку мученическую, когда все мечтают только об одном: побыстрее сплавить покойника и разбежаться по машинам.

Наконец мы, те, кто несли гроб, устанавливаем его на раму и отходим, мокрые и грязные, от могилы. Теперь можно встать под переносной брезентовый тент, который тоже не очень-то защищает от дождя, но под которым тем не менее толпится немало народу: друзья, соседи, бывшие сослуживцы. Все переминаются с ноги на ногу, стараясь протиснуться ближе к середине, где не так захлестывает дождь, а на оказавшихся с краю неудачников время от времени обрушивается по ведру воды из переполненных впадин брезентовой крыши. Пол встает рядом с Элис. Он плачет, и жена прижимается к нему – согреть и утешить. Барри подходит к Венди, и та первым делом отдает ему коммуникатор. Он тут же украдкой проверяет – нет ли писем, а уж потом сует эту черную коробочку в чехол на поясе, точно револьвер в кобуру. Я встаю возле мамы. Красные, заплаканные глаза ее смотрят несколько отрешенно, поскольку сегодня она решила принять не полтаблетки успокоительного, а целую. Ее волосы, крашенные в золотисто-каштановый цвет, но седые у корней, собраны в тугую пучок. На матери черный облегающий костюм – как всегда, с глубоким декольте, настойчиво демонстрирующим плоды пластических операций. Высота ее шпилек, как и диаметр имплантированных грудей, неприличен ни для ее возраста, ни для сегодняшней церемонии. Она сжимает мою ладонь, но в глаза не смотрит. А Джен рядом со мной нет, и ее неприсутствие пульсирует во мне, точно нарыв.

– Не сдерживайся, плачь, – тихо рекомендует мать. – Можно.

– Ага.

– Смеяться тоже можно. Каждый вправе выражать свое горе по-своему. Важно не подавлять эмоции.

– Спасибо, мам.

Мать у нас, конечно, свое дело знает, в этом ей не откажешь. Но она не просто психотерапевт. Двадцать лет назад она написала книгу “Начнем с колыбели, или Как стать родителями без предрассудков”. Книга стала бестселлером и превратила мать в знаменитейшего в стране специалиста по грамотному

выращиванию детей. Естественно, при такой родительнице мы – и я, и братья, и сестра – выросли непоправимо испорченными.

Книгу эту вы наверняка видели: толстенная, с красно-черным корешком, а на обложке голый младенец, который, меняя силуэт, постепенно превращается в подростка. Первые главы посвящены кормлению грудью и приучению к горшку, а последние – проблемам пубертатного периода (у нас в семье это в шутку называлось “от дефекации к мастурбации”). Написана книга таким же откровенным, покровительственным, необъяснимо развязным тоном, каким мать часто общалась с нами в детстве. На задней обложке – ее фотография в жеманно-сексуальной позе на диване у нас в гостиной. Книга переиздается каждый год, а в юбилейные годы выходят подарочные издания – пятнадцатое, двадцатое... В следующем году появится двадцать пятое, исправленное и дополненное, и мать отправится в турне по всем крупным городам Америки – встречаться с читателями, подписывать книжки и выступать на ток-шоу. Может, даже у Опры. Мама уже готовится: твердит, что надо сделать очередную подтяжку лица.

– Сегодня мы прощаемся с Мортонем Фоксманом, любимым мужем и отцом, дорогим братом, близким другом...

Речь толкает Стояк Гроднер. В детстве он был лучшим другом Пола. Теперь он – рабби Чарльз Гроднер, но для нас, тех, кто вырос с ним бок о бок, кто вместе с ним на заднем сиденье школьного автобуса разглядывал порноснимки, которые он стянул из богатой коллекции своего папаши, он по-прежнему – Стояк, тут уж ничего не попишешь, потому что мы помним, как он курил с Полом травку, как разгадывал тайные послания в текстах Led Zeppelin и разглагольствовал о достоинствах и недостатках различных видов полового акта.

– Наш Морт не особо любил ритуалы, – продолжает свою речь Стояк.

– Ты только погляди! – Венди пихает меня локтем, и я, проследив ее взгляд, вижу, что из черного “порше”, который только что шумно затормозил у ворот кладбища, выскакивает парень в мятых черных брюках и мотоциклетной куртке и, пытаясь на бегу завязать галстук, бежит к нам по мокрой траве – словно вышел на финишную прямую марафона. Поначалу я его даже не узнаю, но он приближается – нахально, без тени робости, – и тут уж никаких сомнений не остается: это он! Причем не в черных туфлях, а в мокасынах!

- Филипп! - тихонько восклицает мать и дает Стояку сигнал остановиться.

К этому моменту Филипп уже отчаялся завязать галстук и оставил его болтаться двумя сосульками на шее. Он бежит все быстрее, а последние метра полтора скользит, как мы делали в детстве на чуть наклонной лужайке перед домом. И останавливается прямо перед матерью.

- Mamochka! - говорит он и обнимает ее мокрыми ручищами.

- Ты приехал! - Она сияет. Филипп - ее малыш, и у мамочки ему все и всегда сходит с рук.

- Еще бы! Конечно приехал! - отвечает он и переводит взгляд на меня. - Дзад!

- Привет, Филипп.

Он за руку притягивает меня в свои медвежьи объятия. Да, так теперь выглядит мой братишка Филипп, который когда-то любил пристроиться в постели у меня под боком, и от него пахло детским лавандовым шампунем, и я рассказывал ему сказки, а он терся о мою уже колючую щеку своей нежной, круглой щечкой и теребил волоски у меня на руке. Он любил отгадывать, какая будет мораль в баснях Эзопа. Теперь от него пахнет сигаретами и ментоловой водой, и с тех пор, как мы виделись в последний раз, он изрядно прибавил в весе, особенно лицом раздобрел. От встреч с Филиппом в душе у меня всегда остается одинаковый шлейф - утраты и сожаления. Все бы отдал, чтобы ему снова было пять лет... пора невинности, пора счастья...

Филипп тянется через мою голову - пожать руку Полу, и тот торопливо и сдержанно отвечает на рукопожатие, стремясь ускорить процесс и вернуть похороны в правильное русло. Сестру Филипп чмокает в щеку.

- Ты потолстел, - шепчет Венди.

- А ты постарела, - отзывается он сценическим шепотом, так что все вокруг его отлично слышат.



За спиной Филиппа выразительно покашливает раввин. Филипп оглядывается, одергивает куртку.

- Прости, что прервал, Стояк. Продолжай, - говорит Филипп, на что Венди тут же дает ему щелбан. - Чарли! Простите, рабби Гроднер! - выпаливает Филипп, но слово не воробей, и по толпе прокатывается приглушенный смешок. Стояк, судя по выражению его лица, готов задушить Филиппа собственными руками.

- Прежде чем предоставить слово для прощания Полу, старшему сыну Морта, я хотел бы прочитать короткий псалом... - негодуя произносит Стояк.

- Как же я мог! - шепчет Филипп мне на ухо. - Вот идиот!

- Да ладно, с языка слетело.

- Но это неуважение к раввину!

Мне так и подмигивает заметить, что получасовое опоздание на похороны собственного отца - это тоже неуважение к покойному и ко всем присутствующим. Но зачем тратить слова попусту? Филиппу не нужны ни советы, ни критика. С него все - как с гуся вода.

- Тише! - шипит нам Пол. Филипп подмигивает мне хитрым глазом.

Мы стоим у могилы отца, трое мужчин, трое Фоксманов, выточенные по одному лекалу, но прошедшие совсем разную обработку и шлифовку. Все мы унаследовали от отца черные курчавые волосы и квадратный подбородок с ямочкой, но за близнецов нас никто не примет. Пол похож на меня, но он крупнее, шире в плечах и суровой взглядом - этаким я, накачанный стероидами. Филипп тоже похож на меня, но тоньше и намного красивее, у него более изящные черты лица, улыбка шире и обольстительнее - сама по себе, от природы.

Когда Стояк дочитывает псалом, наступает черед Пола, однако вместо панегирика умершему он, по сути, произносит благодарственную речь, будто только что выиграл конкурс на звание самого преданного сына. Он благодарит отца за то, что тот научил его вести дело, благодарит свою жену Элис за то, что

она помогала ему в магазинах, пока отец болел, благодарит маму за заботу о папе, а потом, довольно многословно, рассказывает, каково было работать с отцом и что такое их бизнес, “Спорттовары Фоксмана”, и почему эта сеть магазинов – лучшая в своем торговом сегменте во всей округе. Ни братьев, ни сестру он не упоминает вовсе, хотя они, промокшие и продрогшие, стоят рядом и мечтают, чтобы заиграл оркестр и заткнул ему глотку.

Наконец он смолкает и, похоже, удивляется, что никто не аплодирует. Санта-Клаус нажимает кнопку на гидравлическом устройстве, и гроб с папиным телом начинает медленно опускаться в могилу. Как только он касается дна, Стояк делает шаг вперед и торжественно вручает Полу садовую лопату.

– По традиции самые близкие люди усопшего должны бросить в могилу ком земли. Наш долг – проводить наших любимых в последний путь, – произносит он. – Как говорят мудрецы: похоронить человека – значит проявить к нему самую бескорыстную доброту и уважение, ведь “спасибо” он тебе уже не скажет.

Забавная мысль. Папа и при жизни никогда не был склонен говорить нам “спасибо”. Либо ругал на чем свет стоит, либо – если ругать не за что – просто не замечал. Молчаливый, суровый человек, типичный выходец из Восточной Европы, и акцент соответствующий. Суровый-то суровый, но голубые глаза смотрели мягко. У папы были необыкновенно плотные, крупные мышцы рук, а когда он сжимал кулак, казалось, что кулак этот может пробить любую преграду. Он сам косил газон перед домом, сам мыл машину, сам красил стены и крышу. Он делал все это сноровисто и тщательно и в душе осуждал каждого, кто нанимал на такие работы чужих людей. Услышав шутку или анекдот, он почти никогда не смеялся, просто кивал: мол, все понял, но ничего нового для себя не почерпнул. Конечно, у папы было много других особенностей, но сейчас как-то ничего не приходит на ум. Вообще с определенного возраста никто своих родителей в упор не видит – остаются только эпизоды из прошлого да клубок неразрешенных конфликтов.

Пол всаживает лопату в отваленную землю и скидывает в могильную яму большой осклизлый ком. Потом он передает лопату мне, и я делаю то же самое. Когда земля ударяется о крышку гроба, меня начинает колотить. Я зажмуриваюсь, чтобы перекрыть жаркой влагой путь из глубины глаз, и вижу отца: он сидит в шезлонге около нашего дома, на заднем дворе, и, сжимая в руках шланг, направляет его поочередно на нас, своих бегающих наперегонки детей, точно на живые мишени, и тархтит – изображает пулеметную очередь.

Да, это позже, когда мы выросли, он перестал находить с нами общий язык. В детстве все кажется вечным, незыблемым, детство заполняет собой весь мир, а потом оно вдруг кончается, и ты кидаешь землю на отцовский гроб и в ужасе понимаешь, что ничего вечного нет. Я отдаю лопату Венди, она зачерпывает совсем немного сырой земли, не больше столовой ложки, и умудряется кинуть ее мимо ямы. Филипп, которому от природы чужда умеренность, набирает на лопату неподъемную глыбу земли – как выяснилось, с камнем внутри. Удар камня о крышку – точно взрыв снаряда. Мы все испуганно вздрагиваем, и тут серую ватную тишину пререзает истошный вой Филиппа. Он падает на колени, громко всхлипывает. “Папка!” – кричит он, а мы, все остальные, смотрим на его горе молча, в ужасе и, возможно, с некоторой завистью.

## Глава 5

13:55

Потом все мы едем в Слепую Кишку. Так прозвали тупиковый проулок, где стоит дом моих родителей – большой белый дом, классический образчик колониальной архитектуры. Он расположен как раз в середине проулка, там, где мостовая расширяется, образуя идеальную площадку для игры в хоккей и катания на великах. На самом деле нашим тупиком заканчивается большая городская магистраль. Она называется Вест Ковингтон и тянется мимо торговых центров, скверов и парков через весь городок Элмсбрук, а потом исчезает в жилых кварталах, где после последнего поворота и становится нашей Слепой Кишкой. Когда народ объясняет, как проехать куда-нибудь в этой части города, наш дом служит знаком, что пора поворачивать назад: если вы видите большой белый особняк, значит, дальше ехать уже некуда. Именно так я и думаю, когда паркую машину перед родительским домом. Дальше ехать некуда.

Папа был одержим домом: вечно его ремонтировал и прихорашивал. Мастер на все руки, он сам пилил-строгал, сам красил и тонировал, прочищал канализацию, менял трубы и промывал из шланга внутренний дворик. Занявшись бизнесом, он скучал по физическому труду, и выходные ему были не в радость, если не удавалось “повкалывать”. Только сейчас краска на доме уже облупилась, а с оконных рам она и вовсе свисает клочьями, из-под карниза растекается

уродливый коричневый подтек, голубоватая плитка на дорожке гуляет, словно зубы, которые того и гляди выпадут, а шпалеры с розами накренились, словно вот-вот рванут со старта и убегут от дома прочь. Трава на газоне, как видно, стосковалась по воде и местами побурела, но пара раскидистых бентамидий, на которые мы лазали в детстве, стоят во всей красе, и их розоватые листья густо нависают над дорожкой, прикрывая ее от дождя. Отец уходил мучительно и долго, и со всеми заботами мама забыла отменить ежегодный визит рабочих, которые чистят и наполняют бассейн, так что он сверкает теперь посреди двора неестественно синей водой. Зато вокруг него меж плиток пробивается неполотая трава. Дом похож на женщину, которая издали привлекает внимание, но, подойдя поближе, недоумеваешь: что ты в ней, собственно, нашел?

Дверь нам открывает Линда Каллен, наша соседка и ближайшая подруга матери. Она впускает нас в дом и обнимает – всех поочередно. У Линды грушевидная фигура, а в лице есть что-то от грызуна, не дикого, а книжного или мультяшного, вроде мудрой диснеевской крысы, которая сидит в кресле-качалке, нацепив на нос очки, а озвучивает ее Джуди Денч или Хелен Миррен. Добродушная, царственная, заслужившая “Оскар” крыса. Линда знает всех нас с пеленок и считает родными детьми. Ее собственный сын, Хорри, стоит чуть позади и, глядя в пол, принимает у нас верхнюю одежду.

– Привет, Джад, – говорит он мне.

– Привет, Хорри. – Я похлопываю его по спине, и он на мгновение цепенеет, но тут же, пересилив себя, произносит:

– Сочувствую. Жаль, что Морта больше нет.

– Спасибо, Хорри.

Хорри был совсем маленьким, когда его отец, Тед, напившись, умудрился утонуть в детском надувном бассейне, пока Линда ходила в магазин. Вернувшись домой, она обнаружила продрогшего рыдающего Хорри в воде вместе с мертвым отцом. Так они остались вдвоем в соседнем доме, но дневали и ночевали у нас. Хорри учился на класс старше Пола и на класс младше Венди, так что в нашу семейку он вписался вполне органично. В старших классах Хорри запал на Венди. Вообще, в нее в тот или иной момент влюблялись все парни в нашем городке, но Хорри обставил всех, поскольку был вхож в дом. С тех пор мы

часто заставляли их с Венди врасплох по темным углам. Ну а потом, уже на втором курсе колледжа, Хорри с кем-то подрался в баре – подробности неизвестны – и получил по башке обрубком бейсбольной биты... Сейчас ему тридцать шесть лет, он живет с матерью, не может водить машину и сосредотачивать внимание дольше, чем на пару секунд. Иногда его настигают мини-приступы: он деревенеет и теряет способность говорить. Мой отец каждый день заезжал за Хорри, и они вместе ехали в магазин, где Хорри работал подручным на складе и носил продавцам бутерброды из соседней забегаловки. Наверно, теперь его работодателем будет Пол.

Венди, даже не раздевшись, бросается обнимать Хорри, и он, уронив все плащи и куртки, обнимает ее в ответ.

– Привет, Подсолнушко.

– Хорри, – шепчет она куда-то ему в шею.

Он целует ее влажные волосы, и когда Венди отстраняется, глаза у нее красны от слез.

– Не плачь, – произносит он. Его рубашка промокла от соприкосновения с ее плащом.

– Я не плачу, – отвечает она и начинает рыдать в голос.

– Ну-ну, не надо... – Хорри нервно помаргивает и принимается подбирать упавшую одежду.

14:07

Серена, младшая дочка Венди, орет как резаная. Мы обедаем под ее нескончаемый ор, поскольку Венди установила в холле специальный монитор с динамиками и все звуки из коляски, которая стоит наверху, в спальне, доходят до нас с утроенной громкостью. Но Венди, судя по всему, даже не собирается идти наверх и утихомиривать своего младенца.

– Мы даем ей поплакать, – провозглашает она, словно они с мужем примкнули к какому-то политическому движению или партии. Только для чего устанавливать монитор, если они все равно позволяют ей плакать? Впрочем, вслух я такие вопросы давно не задаю: себе дороже. В ответ меня смерят снисходительным взглядом, который припасен у всех родителей для всех не-родителей, чтобы напомнить, что я пока – человек неполноценный.

Орущий младенец – это еще цветочки. Вендин шестилетний сынок Райан обнаружил в гостиной пианино, которое не настраивали много десятков лет, и нещадно лупит по клавишам кулаками. Барри же счел, что теперь самое время ответить на пропущенные деловые звонки, и вышагивает взад-вперед между столовой и гостиной, громко обсуждая тонкости какой-то сделки, которая, без сомнения, еще больше увеличит его и без того абсурдно огромное состояние. Поскольку у него в ухе беспроводная гарнитура, он напоминает безумца, который беседует сам с собой.

– Японцы на это никогда не пойдут, – произносит он, мотая головой. – Мы-то готовы вложиться, но цена бумаг совершенно неприемлема.

Финансисты почему-то считают, что их работа и они сами – важнее всего и всех, поэтому окружающие просто обязаны заткнуться, пока они проводят телефонную конференцию, то есть треплются по телефону с партнерами из Дубая. Эти люди ворочают миллиардами, в сравнении с которыми дни рождения детей или смерть тестя – просто ничто. Во всяком случае, не первый пункт повестки дня. Барри бывает дома или где-то с семьей очень редко, да и тогда постоянно говорит по телефону или, насупившись, просматривает электронную почту на смартфоне и всем своим видом показывает, что дерьмо, с которым он имеет дело, в разы круче дерьма, в котором живут все окружающие. Случись ему сидеть рядом с президентом Соединенных Штатов во время ядерной бомбардировки, он все равно бы пялился в экран и, по обыкновению, хмурил брови, точно говоря: “Мои проблемы не чета вашим”. Мне – со стороны – кажется, что он не очень-то хорошо ведет себя с Венди. Едва замечает, в сущности. Вплоть до того, что она и детей, даже старшего, тяжеленного, вынуждена при необходимости поднимать сама. Ну а Венди унаследовала от нашей матушки установку: не выносить сор из избы. У нас все замечательно. Точка.

– Райан, прекрати! – рычит Барри в сторону пианино, прикрыв рукой микрофон. Не потому, что его сын раздражает всех присутствующих, и не потому, что близким покойного нужна тишина, а потому что “папочка говорит по телефону”. Райан на секунду останавливается и, похоже, всерьез обдумывает просьбу отца, но не усматривает для себя никаких выгод. Соната для фортепьяно и двух кулаков возобновляется.

– Венди! – с досадой взывает Барри. Ее имя соскакивает с губ мужа коротко, рефлекторно – значит, призыв стандартный. И сейчас, на людях, Венди его стандартно и успешно игнорирует.

Линда приготовила запеченного лосося с картофельным пюре. Она кружит вокруг стола с добавкой и, завидев опустевшую тарелку, щедро подкладывает туда новую порцию, ловко обходя Барри, который продолжает маршировать взад-вперед, чертыхаясь в телефон. Линде помогает Элис, потому что она – невестка, а не дочь усопшего и, по канону, тяжелую утрату не понесла. Барри тоже имеет право помогать, но ни за что не будет, потому что он – говнюк. Не по канону, а по жизни.

Элис и Пол давно и безуспешно пытаются завести ребенка. Она принимает таблетки для усиления фертильности и набирает из-за них лишний вес. Еще она принимает гормоны, из-за которых глаза у нее постоянно на мокром месте – по поводу все того же лишнего веса. Так, во всяком случае, насплетничала мне Венди и даже рассказала, что когда Элис полагает, что у нее овуляция, она вызывает Пола домой в обеденный перерыв и ждет его в супружеской кровати.

– Нет, ты представляешь?! – причитала Венди. – Бедный Пол должен вздрючивать член по два раза в день!

Сейчас на лице Элис – гримаса. Точнее, вымученная улыбка. Она смотрит на стоящего у пианино Райана широко открытыми, повлажневшими глазами и старается всячески показать: со мной все прекрасно, я способна умиляться чужому ребенку, хотя не способна родить собственного. Она бросает на Пола многозначительный взгляд, но тот сосредоточенно поглощает картофельное пюре и старается не смотреть ни на ближайших родственников, ни на собственную жену.

Тут внимание Райана, очевидно, переключается на что-то другое, пианино смолкает, и – ровно в тот же момент – смолкает ор младенца в динамиках. Во внезапной тишине всем становится неловко, словно до сих пор шум помогал нам спрятаться.

“Сучки-сучки, сладенькие штучки,” – взывает на всю столовую электронная музыка в стиле рэп, и Филипп торопливо лезет в нагрудный карман за мигающим телефоном.

– Все собираюсь сменить мелодию, – смущенно говорит он и со щелчком откидывает крышку. – Ау... Что? Нет-нет, удобно, самое время! – Он захлопывает телефон, смотрит на нас торжественно и произносит: – Она здесь.

Словно все мы только ее и ждали. Так кого же мы ждали? Пока мы пытаемся это вычислить, Филипп широким шагом выходит из столовой и, набрав скорость, с разбегу распахивает парадную дверь. Мы бросаемся на кухню, к полукруглому окну в эркере, откуда открывается чудный вид на окрестности. Женщина как раз вылезает с заднего сиденья “линкольна”-такси. У незнакомки нет татуировок – во всяком случае, на видимых частях тела, нет и силиконовых грудей или бедер, то есть всей той атрибутики, которая присуща девушкам Филипповой мечты. Особенно его обычно заводит упругая попка под короткой юбкой, и лучше – без трусиков. Но нам, даже издали, ясно, что эта белокурая дама с низким пучком аля Грейс Келли, в хорошо скроенном костюме, без нижнего белья по городу не расхаживает. Наоборот, думаю я, у нее дорогущее белье, возможно даже сексапильное, из бутиков “Виктория Сикрет” или “Ла Перла”. Она определенно привлекательна и к тому же холеная, словно отполированная до металлического, хромового блеска. Другими словами, как раз такая женщина, какую рядом с Филиппом никак не ожидаешь увидеть. Испушенная в жизни, утонченная и, насколько я могу судить, значительно старше моего братца.

– Кто это? – спрашивает мать.

– Может, это его адвокат? – предполагает Венди.

– У Филиппа есть адвокат? – удивляется Элис.

– Он иногда попадает в неприятности.



- У него сейчас неприятности?

- Не исключено.

Тут Филипп до нее добегают. Нет, они не обмениваются рукопожатием, не целуются целомудренно, как друзья. Они впиваются друг в друга жадными ртами.

- Что ж, полагаю, она не его адвокат, - произносит Элис с легкой издевкой. Вообще, с Элис не всегда понятно, что она про кого думает. Венди она точно не любит. На самом деле, она никого из нас не любит. Элис - из хорошей семьи, где родные братья и сестры и их мужья и жены чмокаются при встрече и на прощанье, поздравляют друг друга с днем рождения и очередной годовщиной свадьбы, исправно, без всякого дела звонят родителям и под конец разговора говорят "я тебя люблю" естественно, ненатурально и абсолютно искренне. Мы, Фоксманы, для нее - жестокие дикари, не способные на привязанность и не ждущие любви, инопланетяне, которые бесстыдно пялятся через кухонное окно на то, как их младший братец тискает задницу какой-то тетки.

- Я перешлю коэффициенты по мылу, - говорит Барри у нас за спиной. - Мы меняли их уже дважды.

Решив в конце концов поберечь слюну, Филипп и его таинственная гостья направляются к дому, а мы устремляемся назад - за стол. Последнее слово, как всегда, остается за Венди.

- Трахаться с собственным адвокатом! Хорошо устроился!

14:30

- Это - Трейси, - гордо объявляет Филипп, встав во главе стола. Мы как раз успели рассестись по местам, когда он, нацеловавшись и наобнимавшись, торжественно ввел ее в дом. - Моя невеста.

Мы остолбенели. Ну, челюсть, возможно, отвисла не у всех, но если невеста на добрых пятнадцать лет старше жениха, это, пожалуй, чересчур. А его даме, пусть даже хорошо сохранившейся, было явно за сорок.

- Пока мы даже не помолвлены, - нежно поправляет его Трейси. - Но собираемся.

Н-да, похоже, поправлять Филиппа ей не впервой, виден навык. И это наш Филипп, который встречается исключительно со стриптизершами, актрисами, порнозвездами, официантками, а подружки невест задирают для него юбки на автостоянке - прямо во время свадьбы... Даже одна невеста среди них попалась, что было, то было. "Я не смог удержаться, - еле шевеля разбитыми в кровь, вспухшими губами, сказал он мне тогда с больничной койки после общения с друзьями жениха. - Так получилось". Эта коронная фраза, "так получилось", годится на все случаи Филипповой жизни, такая идеальная эпитафия человеку, который всегда оказывается ни в чем не повинным свидетелем собственных поступков.

- Здравствуйте, - говорит Трейси. - Сожалею, что мы знакомимся в таких печальных обстоятельствах.

Уверенно и четко, с большим достоинством. Не подхихикивает, не мнетя. Филипп закидывает руку ей на плечо и довольно ухмыляется, точно всех нас заткнул за пояс. Мы молчим. Когда молчание явно затягивается, Филипп устраивает переключку родственников.

- Это - моя сестра Венди, - произносит он.

- У вас чудный костюм, - откликается Венди.

- Спасибо, - отвечает Трейси.

- А вон тот парень, который беседует сам с собой, - это Барри, муж Венди.

Глядя на Трейси в упор, Барри произносит:

– Ну, может, и продам еще восьмушку. Не исключено. Но им понадобятся твердые гарантии. Мы это уже проходили, неоднократно.

– Барри у нас козел порядочный.

– Филипп!

– Не бойся, милая. Он нас все равно не слышит. Это – мой брат Пол и его жена Элис. Они меня не очень-то любят.

– Только потому, что ты сволочь, – говорит Пол. По-моему, это первые слова, которые он произносит после похорон. Что конкретно его взбесило, понять сложно. В нашем семействе горе напоказ не выставляют, мы наслаждаемся им скрыто, по-своему. Среди возможных побочных эффектов – хамство и раздражительность.

– Очень приятно с вами познакомиться, – говорит Элис чрезмерно приторно, пытаюсь извиниться разом за Пола и за всех нас, а еще – за свои лишние килограммы и за то, что она не так элегантна и невозмутима, как Трейси. Сам ее голос – точно мольба о пощаде: Я когда-то была такой, как ты. Второй размер, идеальные волосы. Давай будем друзьями.

– А это – мой брат Джад. Вот он, если мне не изменяет память, меня любит.

– Привет, Джад.

– Привет.

– Джаду недавно наставили рога.

– Спасибо, что разъяснил, Фил, – говорю я.

– Просто чтобы потом не было недоразумений, – отзывается Филипп. – Ведь Трейси теперь – член семьи.

– Бегите, Трейси. Бегите, пока не поздно! – шутливо и слишком громко советует Элис. Ее нервная улыбка кривится длинной трещиной, еще больше раздвигая

пухлые щеки, расширяется на концах и – мгновенно исчезает.

– Мы это уже проходили, – повторяет Барри. – Это непродуктивно.

– А это – моя мамочка, – произносит Филипп, разворачивая Трейси лицом к матери, которая, натянуто улыбаясь, сидит рядом с Линдой.

– Здравствуйте, Трейси. Надеюсь, вы не будете судить нас слишком строго. Все-таки сегодня тяжелый день.

– Ну что вы, миссис Фоксман. Это я должна просить прощения за то, что появилась без предупреждения, да еще в такой печальный для вас момент.

– Вот и проси, – шипит Венди.

– Венди! – одергивает ее мать.

– Он обозвал Барри.

– Прости! – говорит Филипп. – Я его давно не видел. Так что вполне возможно, хотя и маловероятно, что Барри больше не козел.

– Филипп, – строго и уверенно произносит Трейси. Видно, что Филипп у нее под контролем, как дрессированная собачка. – Филипп нервничает, – поясняет нам Трейси. – Ему сегодня непросто. Конечно, мы бы предпочли приехать сюда для знакомства с семьей при других обстоятельствах, но – поскольку я не только невеста Филиппа, но и его инструктор, – мы оба решили, что в этот непростой момент я должна быть рядом с ним.

– Поясните слово “инструктор”. – В голосе мамы появляются металлические нотки.

– Трейси – мой психотерапевт, – гордо поясняет Филипп.

– Вы спите с пациентом? – возмущается Венди.

– Как только мы осознали, что любим друг друга, я передала Филиппа моему коллеге.

– И как у вас с профессиональной этикой?

– Нам было непросто, но мы с этим справились.

– Так получилось, – одновременно произносит Филипп.

Тут на лестнице появляется малыш Коул, в одной футболке, без трусов. В руках у него старый белый ночной горшок, который пылился под раковиной с детства Филиппа.

Венди утверждает, что у Коула наступил этап “познания этого мира”, поэтому он бродит по дому, точно инопланетянин, все трогает, все изучает и постоянно что-то бормочет себе под нос. Сейчас он подходит к Барри, который наконец-то закончил беседовать по телефону и сел к столу, сует горшок ему под нос, для проверки, и объявляет:

– Папа, Тэ!

Барри озадаченно смотрит в горшок, потом на Венди. И спрашивает:

– Что ему надо? – словно увидел своего двухлетнего сына впервые.

– Тэ! – торжествующе выдыхает Коул.

Содержимое горшка и в самом деле напоминает по форме букву Т. Тут Коул победно поднимает ночную вазу над головой, все выше, выше, потом теряет равновесие и – роняет горшок на стол. Звенят бокалы, жалобно клацают ножи и вилки, Элис вскрикивает, мы с Хорри ныряем под стол, а содержимое перевернувшегося горшка приземляется на тарелку Пола. Вроде гарнира. Пол отскакивает, словно на тарелке вот-вот взорвется граната, и падает на пол, увлекая за собой Элис. На них с грохотом валятся стулья.

– Господи! Коул! – вопит Барри. – Ты обалдел?

- Не кричи на ребенка! - орет Венди.

Коул глядит на своих издерганных, никчемных родителей и внезапно раздражается оглушительными рыданиями, осознанно и без всякой преамбулы. С места в карьер. Поскольку папа с мамой не расположены его утешать, я решаю, что у меня как у дяди тоже есть права и обязанности. Я беру малыша на руки, он лепечет что-то мне в шею, а его маленькая мокрая попка липнет к моему локтю.

- Ты молодец, парень! Молодец, что покакал в горшок, - подбадриваю я его. Детей ведь положено хвалить. Иначе сегодняшний эпизод кончится тем, что Коул будет до десяти лет ходить в памперсах.

- Я сдеяй Тэ, - шепчет он сквозь слезы и трется носом о мой воротник. Нет ничего слаще, чем лепет ребенка, искренний, страстный, с кучей неожиданных ошибок, точно у иммигранта. Вообще-то мне, в отличие от некоторых, большое чадолюбие не свойственно. Но Коула могу слушать хоть весь день напролет. Кстати, слушающий ребенка дядя не обязан оттирать стол от какашек.

- Умница, Коул, - говорю я, оценивающе глядя на тарелку Пола. - Хорошее получилось Тэ, ничего не скажешь.

Пол и Элис кое-как встают на ноги. Похоже, их подташнивает. К этому моменту мы все повскакали с мест и сгрудились, точно на семейном портрете - все Фоксманы минус усопший, - разглядывая еще теплую какашку на тарелке Пола. Да, что-то не верится, что мы выдержим тут вместе семь дней. Сила отталкивания велика, она расшвыряет нас, как молекулы в ходе химической реакции. Так что пока неизвестно, чем все это закончится. Понятно, что добрый фарфор какашкой не испортишь. Но нам до фарфора далеко.

## Глава 6

Если вам случалось пройти через крушение брака - а по статистике, вы через это либо уже прошли, либо пройдете в скором времени, - то вы знаете, что в конце пути всегда вспоминается начало. Может, конечно, это способ подвести итоги, а может - естественная человеческая потребность в сантиментах или в мучениях.

Так или иначе, ты стоишь оглушенный на тлеющих руинах собственной жизни, а мысли то и дело возвращаются к первым встречам, к первым дням любви. И даже если твоя любовь возникла не в безмятежные восьмидесятые годы, от этих подретушированных воспоминаний все равно будет веять невинностью, подкладными плечиками в пиджаках, яркими красками из баллончиков, голосами Пэт Бенатар и группы The Cure из динамиков старенького магнитофона. Ты видишь самого себя: как бегал на занятия через весь кампус, как заскакивал в кафе выпить чашку кофе, как танцевал на свадьбе приятеля, как пил с друзьями в баре. И как впервые встретил ее: она смеялась над чьей-то шуткой, закидывала за ухо непокорную прядь, выходила, подвыпив, с подружкой на сцену – спеть “Девяносто девять красных воздушных шариков” (причем настолько осмелела от выпитого, что вспомнила даже немецкий оригинальный текст), а может, просто стояла у стенки с кружкой легкого пива и, выгнув брови дугой, наблюдала за происходящим или шла без куртки, без перчаток, с закатанными до локтя рукавами, а снег все падал и падал...

...или, спеша на занятия, катила на красном велосипеде фирмы “Швинн” через главную университетскую площадь. Я заметил ее еще раньше, запомнил, как развеваются на ветру ее белокурые, забранные в хвост волосы. Мы оба учились на младших курсах и – хотя ни на каких предметах не пересекались – уже готовы были кивать друг другу при встрече. Я не выдержал в тот день, когда она со свистом проехала мимо меня на велике:

– Эй, привет велосипедисткам!

Она резко затормозила и, соскакивая на землю, ссадила ногу до крови о железную педаль.

– Уй, черт!

– Прости, я не нарочно, – сказал я. – Даже не рассчитывал, что ты остановишься.

Она озадаченно подняла глаза:

– Но ты ведь меня окликнул.

Ее зеленые глаза сверкали и искрились. Я сразу заподозрил, что яркий цвет – от тонированных контактных линз, но мне все равно захотелось сочинить об этих

глазах песню и, встав под дверью ее комнаты в общежитии, запеть серенаду, а друзья ее пусть выскакивают из соседних комнат полуодетые и, одобрительно улыбаясь, толпятся вокруг.

– Ага, окликнул. Прости. Я вообще плохо контролирую импульсы. Окликнул – и все. Не знаю зачем.

Ее смех оказался низким, грудным. Смеяться она любила и умела, по всему видно. Навык. Она смотрела на меня, эта красотка, эта натуральная блондинка, эта девушка, с которой мне было совершенно не на что рассчитывать. Наверняка же откажет – пусть с улыбкой, – но откажет. И вдруг она сказала:

– У тебя пять секунд. Придумай, зачем остановил.

Мне выпал лотерейный билет. И он вселил в меня наглую надежду.

– Я подумал, нам есть о чем поговорить, – произнес я.

– Правда?

– Про велосипед, например. Никто, кроме тебя, тут на велике не катается.

– И что из этого?

– Думаю, это ты так стебешься над всеми. Иронизируешь.

– Ироническое катание на велосипеде? Что-то новенькое.

– Вообще-то велосипедный спорт идет в гору. Его собираются включить в программу Олимпийских игр.

– А у тебя всегда такие волосы?

Волосы у меня от природы густые, вьющиеся и стоят торчком – но не мелким бесом, а кольцами, такими растянутыми, неупругими пружинами. В ту пору, в колледже, я за ними не очень следил.



- Чем выше волос, тем ближе к Богу.

- А я хромая, - вдруг сказала она.

- Что?

- Я поэтому и езжу везде на велосипеде. У меня одна нога короче другой, от рождения.

- Прикалываешься?

- Боюсь, что нет.

Она слезла с велосипеда и показала свою кроссовку, явно сделанную на заказ.

- Видишь, тут подметка толще? Больше чем на два сантиметра.

- Прости. Я - полный идиот.

- Ничего страшного. Ты же не знал.

- Кстати, меня зовут Джад. Джад Фоксман.

- А я - Джен.

- Если не возражаешь, я пока буду называть тебя велосипедисткой.

- Почему?

- Потому что по имени я тебя назову, когда поцелую.

Осаживать наглецов ей, кажется, было не впервой.

- А что, если никогда не поцелуешь?

- Тогда мне твое имя вообще ни к чему.
- То есть просто дружбы у нас не получится?
- Думаю, у такой девушки и без меня друзей хватает.
- У какой такой?
- У ироничной велосипедистки.

И тут она снова засмеялась – мгновенно, точно этот смех давно булькал у нее внутри и ждал удобного момента, чтобы вырваться на свободу. За шестьдесят секунд нашего знакомства мне удалось рассмешить эту девушку уже дважды – а я, начитавшись “Плейбоя”, твердо знал, что красавицы хотят как раз таких мужчин, которые умеют их рассмешить. Ну, разумеется, эти мужчины должны смешить их после того, как обеспечат своим красавицам многократный оргазм твердым и ненасытным членом длиной не меньше двадцати двух сантиметров, причем на борту частного самолета. Но – была не была! Надежда у меня в груди потихоньку расправляла крылья, готовясь взлететь.

Я знал, что Джен для меня слишком красива и слишком уверена в себе. За последние годы мое скромное место под солнцем уже определилось: я состоял при нервных девицах-неудачницах с темно-бордовой помадой на губах и кучей сережек в ушах, которые преодолевали накопившиеся с детства комплексы избытком алкоголя и разовыми перепихонами с хорошими, нелепо-кучерявыми еврейскими мальчиками. Таких эпизодов за два года колледжа было всего два, но поскольку тем мой опыт и ограничивался, я считал, что это и есть уготованный мне круг общения. Джен была совсем другая, а я, кстати, был совсем не ее тип. До меня, как потом выяснилось, она западала на обладателей дорогих спортивных машин – одаренных богатых наследничков с гладкими безволосыми телами, но они ее на тот момент разочаровали. Ее последний бойфренд, похожий на всех предыдущих, только чуть пониже, с безумным именем Эверетт, имел наглость заявить Джен, что из-за плохой осанки она выглядит непредставительно. Услышать такое от парня с впалой грудной клеткой и тощим, как карандаш, членом! А предыдущий ее парень, Дэвид, после зимних каникул объявил, что помолвлен и весной у него свадьба. Самолюбие Джен из-за этих историй изрядно пострадало, она начала мучить себя диетами, чуть не довела до анорексии, и тут – у нее на пути случился я. В нужное время и

в нужном месте. Наконец-то у Бога и для меня нашелся подарок.

Впрочем, все эти подробности я узнал позже. А в тот момент понимал только одно: разговор, который должен был давным-давно закончиться, как ни странно, длился и даже обрел второе дыхание. Девушка, которая по всем законам вселенной давно должна была уехать, не просто продолжала стоять рядом, а потянулась ко мне, и сияющие улыбкой губы приблизились к моим... Это был не поцелуй даже, а мимолетное касание, но я успел ощутить, какая податливость, какая нежнейшая плюшевая мягкость таится в этих губах. Я влюбился. Seriously. Так оно и было.

- Плохо контролирую импульсы, - пояснила она, гордая собственной отвагой.

- Джен... - Я медленно выдохнул и провел языком по своим губам, изнутри, где остался сладковатый восковой вкус ее помады.

- Джад.

- Пожалуй, я буду называть тебя велосипедисткой... до после секса.

Она снова засмеялась, в третий раз. Любители подсчетов знают: три - ключ ко всему. Хотя начинал я с нулевыми шансами. Впоследствии Джен будет клясться и божиться, что именно тогда и поняла, что выйдет за меня замуж. В том-то и проблема с желторотыми юнцами и девчонками: у них абберация сознания. А виноват во всем Голливуд. Жизнь для них - такая романтическая комедия, и, едва познакомившись с кем-то симпатичным, студент или студентка колледжа уже мечтают прожить с этим человеком жизнь и умереть в один день. Вот так и встретились хорошенькая блондинка, которая пыталась интересничать, бравируя своей легкой врожденной хромотой, и нервный лохматый юноша, который изо всех сил старался казаться умнее, чем был на самом деле. Их завораживал ритм неистово бьющихся в унисон сердец и пульсация пониже пояса. Тот безмозглый юноша жаждал близости слепо и отчаянно, не понимая, что стоит на пороге зарождающейся любви, и норовил шагнуть вперед, хотя на самом деле следовало спасаться бегством.

15:43

Входит Стояк с двумя волонтерами из Еврейского погребального общества при синагоге – они принесли все причиндалы для семидневного траура. Тихо, по-военному четко они преображают гостиную, после чего Стояк собирает в этой гостиной нас, трех сыновей и дочь усопшего. Перед камином стоят в рядок пять низеньких раскладных стульев: на крепкий деревянный каркас натянута выцветшая виниловая обивка. Зеркало над камином забрызгано каким-то мыльным белым спреем, вроде как облако на него осело. Вся мебель сдвинута к стенкам, по периметру комнаты, а на освободившемся пространстве расставлены белые пластиковые стулья – в три ряда, лицом к низким раскладным. На пианино стоят два старинных серебряных блюда. Сюда все люди, пришедшие выразить сочувствие скорбящим, могут положить пожертвования: для Погребального общества или для местного Общества поддержки больных раком детей. На каждом блюде уже лежит по несколько одиноких купюр, для заправки. В просторной прихожей, на столике, рядом с монитором, который Венди установила, чтобы слышать Серену, уже горит толстая свеча, залитая в высокий стеклянный стакан. Свеча траура, свеча шивы. В стакане хватит воску на все семь дней.

Филипп пинает ногой один из низеньких деревянных стульчиков:

– Как мило, что магистр Йода одолжил нам стулья! Так у нас Звездные войны?

– На таких стульях сидят шиву, – поясняет Стояк. – Сидеть низко, ближе к земле, – это символ траура. Когда-то вообще на полу сидели. Но со временем послаблений становится все больше. Традиция не стоит на месте.

– Туда ей и дорога, – бормочет Филипп.

– А что сделали с зеркалом? – интересуется Венди.

– Если в доме траур, зеркала принято снимать или занавешивать, – поясняет Стояк. – Мы забелили это зеркало и все зеркала в ванных комнатах. Траур – время размышлений о жизни вашего отца, надо подавить в себе порывы к

самолюбованию, отрешиться от всего земного.

Мы киваем, как кивают обычно туристы слишком ретивому экскурсоводу в музее: мол, заранее со всем согласны, лишь бы побыстрее отпустил перекусить.

– Незадолго до кончины ваш отец призвал меня в больницу, – произносит Стояк, который был когда-то дерганым круглолицым парнишкой, а теперь стал нервическим толстомордым дядькой с вечно красными щеками, отчего он кажется либо сердитым, либо смущенным. Уж не знаю, когда и какими путями Стояк обрел веру в Бога: закончив школу, я потерял его из виду. Не Бога, конечно, а Стояка. Что до Бога, наши с ним пути окончательно разошлись, когда я вступил в Младшую лигу и не мог больше посещать школу при Храме Израилевом – синагоге, куда мы ходили раз в год всей семьей на праздник Рош а-Шана, еврейский Новый год.

– Ваш отец не был религиозным человеком. Но к концу жизни он стал сожалеть о том, что не придерживался традиций, особенно в воспитании детей.

– Как-то на него не похоже, – замечаю я.

– И тем не менее. Кстати, это довольно распространенное явление: перед лицом смерти люди начинают уповать на Бога, – говорит Стояк тем же непререкаемым тоном, каким в детстве объяснял нам, как делается минет.

– Папа не верил в Бога, – запальчиво говорит Филипп. – Он не стал бы уповать на того, в кого не верит.

– Значит, он изменил свое мнение, – отвечает Стояк. Похоже, он еще злится на Филиппа за упоминание его позорного прозвища.

– Отец своих мнений никогда не менял, – говорю я.

– Перед смертью ваш отец пожелал, чтобы его семья после его ухода в мир иной отсидела шиву.

– Он же был на наркотиках, чтобы снять боль, – вступает в разговор Венди.

- Он мыслил совершенно здраво. - Щеки Стояка потихоньку багровеют.

- А еще кто-нибудь слышал, как он это сказал? - интересуется Филипп.

- Филипп, - одергивает его Пол.

- Что? Я просто спрашиваю. Ну, вдруг Сто... Чарли чего-то не понял.

- Я все прекрасно понял, - сухо отвечает Стояк. - Мы обсуждали это довольно долго.

- Я не ошибаюсь, что шиву иногда сидят всего три дня? - говорю я.

- Точно! - восклицает Венди. - Ты прав.

- Нет, не прав! - кричит Стояк. - Само слово "шива" означает семь. Семь дней. Потому траур и называется шива. И ваш отец именно об этом и просил.

- В магазинах все пойдет вразнос, если я просижу тут семь дней, - говорит Пол. - Папа никогда бы такого не предложил.

- Послушай, Чарли, - примиряюще говорю я, шагнув к нему поближе. - Ты свое дело выполнил, волю отца нам сообщил. Мы теперь это между собой обсудим и придем к какому-то согласию. Если будут вопросы, мы тебя обязательно позовем.

- Прекратите!

Обернувшись, мы видим на пороге гостиной маму и Линду.

- Так хотел ваш отец, - сурово говорит мама, входя в комнату. К этому моменту она уже сняла пиджак, оставшись в блузке с глубоким вырезом, обнажавшим ту самую, знаменитую ложбинку меж грудей, из-за которой нас так дразнили в школе. - Он был далеко не идеален, он не был образцовым отцом, но он был хорошим человеком и всегда делал для вас все, что мог. Кстати, вы в последнее время тоже не были образцовыми детьми.

– Мам, ну что ты? Успокойся, – говорит Пол, упреждающе подняв руку.

– Не прерывай меня. Ваш отец умирал целый год, практически целый год. Сколько раз вы, каждый из вас, его навестили? Я знаю, Венди, Лос-Анджелес – не ближний свет. Да и у тебя, Джад, сейчас не лучшие времена. А уж ты, Филипп... Одному Богу известно, где тебя носило. Будь ты на войне в Ираке, я бы хоть знала, где ты... Короче. Отец высказал предсмертную волю, и мы отнесемся к его воле с уважением. Мы все. Да, тут будет тесно, неудобно, мы будем действовать друг другу на нервы, но на ближайшие семь дней вы снова станете моими детьми. – Она подходит ближе и улыбается. – Бросайте якоря.

Резко развернувшись на каблуке-шпильке, мать плюхается на один из низких стульчиков.

– Ну, – говорит она. – Чего ждете?

Мы молча садимся – надутые, обиженные, точно группа проштрафившихся школьников.

– Хмм... миссис Фоксман, – откашлявшись, произносит Стояк. – Шиву предпочтительно сидеть не в парадной обуви.

– У меня плоскостопие, – парирует мать, смерив Стояка взглядом, острым как бритва. Таким взглядом впору без ножа делать обрезание.

Мои родители крепко держались лишь одной, поистершейся за века еврейской традиции: собирали семью на праздник Рош а-Шана. Едва лето начинало подвядать, превращаясь в осень, у каждого из нас раздавался звонок – не с приглашением, а с требованием приехать, – и все мы слетались в Слепую Кишку, чтобы ворча сходить на службу в синагогу, поругаться из-за спальных мест и высидеть обильный праздничный обед, причем кто-нибудь непременно выскакивал из-за стола и пулей вылетал из дома. Это тоже вошло в традицию. Чаще всего не выдерживали Венди или Элис, хотя, как сейчас помню, однажды из-за стола выбежала Джен, потому что отец, изрядно принявший на грудь, сказал ей вдруг, без всякого повода, что наш умерший сын не считался бы евреем, поскольку она, его мать, – не еврейка. Джен тогда швырнула в отца тарелку и убежала, но никто ее не осудил: ведь прошло всего несколько месяцев

с тех пор, как она родила мертвого ребенка. “И что на нее нашло?” – удивился отец. В итоге все сложилось даже удачно, так как Джен настояла на немедленном отъезде и я оказался избавлен от нудной многочасовой службы в синагоге, куда все мы должны были пойти наутро. Обычно к концу такой службы размеренное бляение кантора Ротмана изводило слушателей до такой степени, что мне, к примеру, хотелось пасть ниц и признать Иисуса Христа своим Богом и Спасителем.

16:02

Элис и Трейси помогают Линде на кухне. Хорри ушел – Пол отправил его в магазин, доделывать дела. Магазин в Элмсбруке – флагман всего бизнеса, он работает без выходных до девяти часов вечера. Барри наверху, смотрит с Райаном видак. Поэтому в гостиной остались только скорбящие на низеньких стульях, все пятеро. И чувствуем мы себя глупо и неуютно.

– Ну-с, – произносит Филипп. – Что дальше?

– Дальше будут приходить люди, – отвечает мать.

– Как они узнают, когда приходить?

– Мы же не первые сидим шиву, – ворчливо обрывает его Пол. – На все свои правила.

– Люди придут, – говорит мать.

– И люди придут! – басом, под Джеймса Эрла Джонса, передразнивает Филипп.

Наш Филипп – просто кладезь цитат из фильмов и песен. Жаль, что, расчищая для них место у себя в голове, он заодно выкинул оттуда логику и здравый смысл. Зато цитатами сыплет по поводу и без повода, словно восточный мудрец.

Пол замечает мой взгляд: я смотрю на его правую руку. Широкий розовый шрам пересекает мясистую часть ладони, переходит на запястье и заканчивается



неровным узловато-клочковатым наростом почти у локтя. На плече у него есть еще один шрам, куда страшнее этого: он тянется к шее застывшими бурунами – по одному на каждый зуб рассвирепевшего ротвейлера, который промахнулся лишь на пару дюймов. Не дотянулся до яремной вены. Когда я вижу Пола, я вечно пялюсь на шрамы от собачьих зубов, просто не могу удержаться.

Пол тут же сгибает руку, пряча шрам, и кидает на меня тяжелый взгляд. Он ни разу не обратился ко мне, с самого моего приезда. Он вообще никогда без нужды со мной не заговаривает. Тому есть много причин, одна из которых – как раз нападение ротвейлера, положившее конец его так и не начавшейся бейсбольной карьере в колледже. Винит он в этом меня. Разумеется, вслух он этого ни разу не высказал. За исключением Филиппа мужчины в нашей семье не склонны озвучивать свои претензии. Поэтому не могу с уверенностью сказать, кого Пол возненавидел в тот момент: только меня или всех вокруг.

Другая возможная причина состоит в том, что мужчиной я стал с Элис. Давно, еще в школе. Она была первой у меня, а я у нее. Ничего ужасного в этом, кстати, нет. Мы с ней учились в одном классе, а на глаза Полу она попала много лет спустя, когда чистила ему эмаль в зубоврачебном кабинете, а он привычно произнес: “Кажется, ты в детстве дружила с моим младшим братцем?” Беспроигрышный способ познакомиться с девушкой. Я к тому времени давным-давно уехал из нашего городка и был обручен с Джен, так что с меня взятки гладки. Если Полу что-то не нравится, сам виноват. Знал же, что я побывал там первым. Не удивлюсь, если он и встречаться-то с ней стал, чтобы как-то поквитаться со мной за историю с собакой. Довольно извращенный способ поквитаться, но зато в стиле Пола. Поэтому теперь, каждый раз, когда Пол меня видит, на душе у него свербит. Он знает, что я лишил девственности его жену, что я видел Элис обнаженной, целовал розоватое родимое пятно, напоминающее вопросительный знак, которое начинается у нее чуть ниже пупка, а заканчивается у промежности. С тех пор прошло семнадцать лет, но настоящие мужики такого не забывают. Да и Элис, увидев меня, наверняка вспоминает те четыре месяца, которые мы провели, занимаясь сексом в машинах, подвалах, кустах, а однажды ночью даже в пластиковом туннеле над горкой на детской площадке возле начальной школы. Первая любовь – не картошка. Как ни старайся, все равно не забудешь.

– Что в магазине? – спрашиваю я у Пола. – Идут дела?

Он смотрит на меня, раздумывая, о чем я, собственно, спрашиваю.

- Да все по-старому, все по-старому.

- Планируешь расширяться? Открываешь новые точки?

- Нет. Какие планы? Сейчас кризис. Ты что, газет не читаешь?

- Просто спросил.

- Хотя тебя сейчас волнует не кризис, у тебя другие проблемы, верно, Джад?

- Ты о чем, Пол?

Ага, мы уже говорим имена в конце фразы. Так кружат по рингу боксеры, выжидая момента, чтобы нанести первый удар.

- Пол, - упреждающе произносит мать.

- Все хорошо, мама, - откликаюсь я. - Просто мы давно не виделись. Наверстываем.

- Ладно, проехали, - говорит Пол.

- Ну нет, почему же? Ведь ты имел в виду, что я безработный, а моя жена трахается направо и налево, поэтому мне есть о чем поволноваться, кроме экономического положения в стране. Так?

- Ну, может, и так...

- Я удивился, что ты даже не позвонил, когда это случилось, - продолжил я. - На съемную квартиру я съехал почти два месяца назад. И никто из вас за это время не позвонил. Впрочем, для тебя это норма. Уж если ты не позвонил, когда мы потеряли ребенка, чему удивляться теперь? Крушение моего брака - дело более тривиальное. Но я почему-то думал, что ты позвонишь, Пол, хотя бы для того, чтобы посыпать соль мне на раны. Так что папа умер как раз вовремя. Когда бы ты еще получил возможность сделать это очно?

– Я совершенно не злорадствую. Джен мне всегда нравилась.

– Спасибо, Пол. – Я выжидаю паузу для пушщего эффекта и добавляю: – А мне всегда нравилась Элис.

– Что ты сказал? – Пол сжимает зубы, кулаки и ягодицы.

– Что именно ты не расслышал?

– Все девчонки любят Элис, – громко, подвирая мелодию, поет Филипп из репертуара Элтона Джона.

– Ну, Филипп, – перебивает его Венди. – Расскажи, как тебе удалось совратить своего врача.

– Попозже расскажу, – обещает Филипп. – Сейчас лучше братанов послушаю. Интересно!

– Нечего тут слушать! – провозглашает мама.

Я смотрю на часы “Ролекс”, купленные Джен на мои деньги. Все никак не соберусь выставить их на продажу в интернете. Мы сидим шиву уже целых полчаса. И тут очень кстати звонят в дверь. А то еще неизвестно, чем бы закончилась наша с Полом перестрелка – она ведь только набирала силу. Однако комната постепенно наполняется грустными соседями, пришедшими выразить нам соболезнования, и я начинаю понимать, что гости во время шивы приходят именно для того, чтобы скорбящие не разорвали друг друга в клочья.

Когда мы были маленькими, папа брал нас с Полом на рыбалку, на берег довольно широкой, но неглубокой речушки. Располагались в тени под эстакадой, у развилки каких-то второстепенных дорог, в нескольких километрах к северу от нашего городка. Мы с Полом тут же принимались бродить по мелководью, подбирая со дна обточенные водой камешки, а отец привязывал их к лескам вместо грузила. Потом он доставал перочинный ножик и располовинивал несколько червяков – из них получалась наживка, которую мы насаживали на крючки, и отец учил нас забрасывать удочки подальше от берега. Забрасывать

нам с Полом нравилось больше, чем ждать, когда клюнет. Мы то и дело сматывали удочки и, заведя их подальше за спину, делали могучий взмах, закидывали и проверяли: чей поплавок оказался дальше. Как-то раз, после часа подобных упражнений, Пол в очередной раз завел удочку назад, случайно зацепил крючком мое ухо – и дернул. Меня обожгла острая, горячая боль – это разорвался ушной хрящ, а следом я получил удар по черепушке – туда попало грузило. Миг – и я уже лежал на земле, глядя в безоблачное небо. Чтобы остановить кровь, отцу пришлось разорвать свою футболку. Пол стоял надо мной и просил прощения, но так сердито, словно виноват был я, а не он. К волоскам, что кучерявились у отца на груди, прилипли сгустки моей крови. Не помню, чтобы мне было очень больно, но помню, как я поразился, когда мятая отцовская футболка мгновенно превратилась из белой в красную. В итоге мое ухо пострадало не так уж сильно, но след от грузила остался на черепе навсегда – вроде вмятинки, которую оставляешь пальцем на незасохшей глине.

## Глава 8

19:45

Мы сидим тут уже несколько часов, а поток людей не иссякает, словно у крыльца каждые полчаса высаживают по целому автобусу. Вся Слепая Кишка превратилась в стоянку машин, а у меня сводит челюсти от вежливой улыбки, которую я должен поминутно надевать, поскольку мама то и дело представляет меня новым гостям. Задница тоже затекла – под дешевым виниловым покрытием стульчиков для шивы скомкалась такая же дешевая набивка. Гости рассаживаются, и ножки шатких белых пластиковых стульев, расставленных по комнате, чуть разъезжаются под их весом и царапают дубовый пол, а потом снова царапают, поскольку гости в порядке очереди, прямо на стульях, придвигаются все ближе и ближе к камину и к нам, родственникам усопшего: чтобы задать те же вопросы, произнести те же банальности и, деланно вздохнув, сжать мамин локоть. Пожалуй, ради ускорения процесса стоило бы подготовить раздаточные материалы и прямо у двери выдавать краткий бюллетень отцовской болезни с более детальным описанием его последних дней, может, даже приложить ксерокопию его УЗИ и цветную распечатку томограммы. Ведь всех родительских ровесников интересуют именно эти

подробности. А внизу дать сноску, ясную и недвусмысленную: нас совершенно не интересует, где вас застала весть о смерти нашего отца/мужа, поскольку он не Джон Кеннеди и не Курт Кобейн.

Пол обходится короткими репликами или, чаще, серией похмыкиваний, которые, согласно тесту психолога Роршаха, люди склонны принять за ответы. Венди, ничтоже сумняшеся, принимает звонки от подружек из Калифорнии, а Филипп вешает лапшу на уши всем подряд: проверяет, надолго ли хватит долготерпения окружающих.

Дама средних лет: Господи, Филипп! В последний раз я видела тебя еще школьником. Чем ты теперь занимаешься?

Филипп: Нынче я в Белом доме – мозговой центр по Ближнему Востоку.

или: Я – гендиректор частного фонда по использованию биотехнологий.

или: Координирую проект ЮНИСЕФ “Свежую воду Африке”.

или: Работаю каскадером на новом проекте Спилберга.

Разумеется, прибывают не только гости, но и пища. Евреи не посылают друг другу цветов, они посылают еду, причем в больших количествах. Вскоре весь дом заставлен блюдами с фруктами, мясными нарезками, разнообразными печеньями, запеканками, бубликами, салатами и копченым лососем. Линда, легко вошедшая в роль помощницы по хозяйству – свою прежнюю, привычную роль при клане Фоксманов, – сортирует продукты и те, что не портятся, выставляет на обеденный стол, где уже стоит огромный металлический кофейник. Все это напоминает фуршет. Гости входят, присаживаются, постепенно придвигаются к нам, соболезнуют, а потом плавно перемещаются в столовую – поесть и выпить кофе. Короче, поминки как поминки. Только длиться они будут семь дней, и выпивки нет. Интересно, во что превратится это сборище, если кто-нибудь вздумает сорвать пластиковый замок на баре и достанет виски?

Гости в основном пожилые. Это друзья и соседи моих родителей. Приходят на людей посмотреть и себя показать, а заодно – выразить сочувствие и поразмыслить над неизбежностью собственной кончины, которая, попыхивая точно каша, подспудно вызревает в сердцах, печенках, легких, у одних – в раковых клетках, у других – в кровяных шариках... Смерть пробила в их рядах новую брешь, и они преданно утешают мою мать. Но мне на этих бледных лицах видится радость: их-то на этот раз миновала чаша сия. Они вырастили детей, выплатили кредиты и теперь наслаждаются золотой осенью. Наступило время хоронить друг друга и пить кофе на поминках, роняя крошки от песочных пирожных и подсчитывая потери своего неуклонно редющего племени.

Подразумевается, что мне до этого этапа жизни еще далеко, что я не так давно обзавелся семьей и только начинаю жить, но – произошел сбой в программе, роковое отклонение от курса, и меня снедает безмерная печаль, а семидневная шива по умершему отцу ее только усиливает. Внезапно я ловлю себя на том, что вижу на всех лицах следы увядания. Возрастные крапины на руках и лысинах, тройные подбородки, дряблые шеи, бульдожьи щеки, набрякшие веки, въевшиеся морщины, сутулые плечи, кривые ноги, обвислые груди у мужчин и женщин, без разбора. Когда же все это приходит? Да исподволь. Поэтому не бережешься и не поборешься. Просто однажды утром проснешься и увидишь, что состарился. Во сне.

Сколько же планов было у меня, когда я только поступил в колледж! Но на втором курсе я влюбился в Джен, и ненасытная половая горячка стерла все мои высокие мечты и амбиции. Я настолько поразился, что такая девушка хочет быть с таким парнем, как я, что решил, что будущее гарантировано. Главное – отчаянно стараться сделать ее счастливой. Нырнув в сладкий бело-розовый бермудский треугольник ее раскинутых ног, я пропал там без следа. Перебиваясь с тройки на четверку, дотянул до диплома, и тогда же она согласилась выйти за меня замуж. Помню, какое облегчение я тогда испытал – точно марафон осилил.

И вот теперь у меня нет жены, нет ребенка, нет работы, нет дома, нет вообще никаких свидетельств хотя бы минимального успеха в этой жизни. Может, я и не стар, но уже не в том возрасте, когда легко начинать жизнь сначала. На фотографиях я себя не узнаю: двойной подбородок, намек на брюшко, да и волосы, шевелюра, на которую я всегда мог положиться, начинает предательски подводить – залысины становятся все глубже, а волосы отступают от лба, и я каждый день нащупываю их все ближе и ближе к макушке. Ничего не иметь в

двадцать лет даже круто, и все еще впереди, но ничего не иметь, когда ты уже на полпути к семидесяти, когда твои мышцы дряхлеют, а пузо растёт, это совсем, совсем другое дело. Это как выехать с восточного побережья на западное без денег и с пустым баком. Когда-нибудь я пойму, что именно сейчас и начался тот медленный процесс, который однажды закончится моей одинокой смертью в пустой квартире, возле телевизора, под глухое поскуливание коротконогой косолапой собачонки. Всякому, кто войдет туда, воздух покажется затхлым, но поскольку вонь буду источать я сам, я ее даже не почувствую. Зато сейчас я чувствую, как это несчастное будущее стремительно, неуклонно несется прямо на меня, топоча копытами по прерии, точно стадо обезумевших бизонов.

Сам не понимая, что делаю, я вскакиваю с места и, лавируя меж людей и обрывков беседы, пробираюсь сквозь толпу, а взгляд мой устремлен на спасительную кухонную дверь.

- ...Пол, старший. Он очень хорошо говорил...

- ...три месяца на вентиляции легких... в сущности, овощ...

- ...местечко на озере Виннипесоки. Мы каждый год ездим. Там так красиво. Морин привозит детей...

- ...недавно расстался с женой. Вроде как изменяла...

Последняя реплика пронзает болью, как когда-то рыболовный крючок, но вот я уже у двери и оглядываться не намерен. Попав в мирную прохладу кухни, под кондиционер, я просто прислоняюсь к стене – перевести дыхание. Присев на корточки возле холодильника, Линда задумчиво, словно сигару, посасывает сырую морковку и думает, как ловчее рассовать заполонившие дом продукты.

- Привет, Джад, – говорит она приветливо. – Хочешь чего-нибудь? У нас тут есть все, что душе угодно.

- Можно молочный коктейль? Ванильный?

Она закрывает холодильник и растерянно поднимает глаза:

– А вот этого нет.

– Ну, тогда я, пожалуй, сбегаю, куплю.

Она улыбается нежно, по-матерински.

– Страсти потихоньку накаляются?

– Пик уже позади.

– Да, я слышала крики.

– Было дело... прости... И знаешь, спасибо тебе, спасибо за все, что ты делаешь, что о маме заботишься и вообще...

Сначала кажется, будто я ее напугал, потом – будто она хочет что-то сказать, но в конце концов она просто засовывает морковку обратно в рот и улыбается. Из гостиной доносится мамин смех.

– Мама не скучает, – замечаю я. – Она любит гостей.

– У нее было много времени подготовиться к его уходу.

– Да уж.

С минуту мы просто молчим, исчерпав тему.

– Хорри неплохо выглядит, – говорю я и тут же готов взять свои слова назад.

У Линды грустная, изможденная и одновременно прекрасная улыбка – улыбка человека, давно привыкшего к страданию.

– Я стараюсь не думать о том, как могла бы сложиться его жизнь. Стараюсь просто радоваться тому, что имею.

– Верно. А вот мне радоваться вообще нечему. Потому что ничего не имею.



Она подходит и кладет руки мне на плечи. Я целую вечность не ощущал на себе ничьих рук, не смотрел ни в чьи глаза. Я вижу, как в глазах Линды отражаются мои слезы.

– У тебя все наладится, Джад. Сейчас тебе худо, знаю, но острая боль скоро уймется.

– Откуда ты знаешь? – Внезапно я понимаю, что сейчас разрыдаюсь вслух. Линда меняла мне подгузники, кормила, заботилась обо мне не меньше и не хуже родной матери, а я ей за всю жизнь даже спасибо не сказал. Я же должен посылать ей открытки на День матери, должен звонить, справляться о ее здоровье. Как же так? Почему за все эти годы я о ней вообще не вспоминал? На меня накатывает волна раскаяния. Каким никчемным человеком я вырос...

– Ты – романтик, Джад. Ты всегда был таким. Но ты обязательно найдешь другую любовь, или она сама тебя найдет.

– А твоя другая любовь тебя нашла?

Лицо ее меняется, она опускает руки.

– Прости, – говорю я. – Глупость брякнул.

Она кивает в знак прощения.

– Джад, ты напрасно думаешь, что суть каждого человека написана на нем крупными буквами. Это заблуждение.

– Я знаю.

– Ничего ты не знаешь, – ласково, но твердо говорит она. – Сейчас не время и не место вдаваться в детали, но поверь: последние тридцать лет я не провела в одиночестве.

– Ну конечно, Линда. Прости. Я идиот.

– Разумеется, идиот, но на этой неделе тебе все сойдет с рук. – Она дружески подмигивает. – Только не злоупотребляй доверием.

Линда выглядывает в окно, на забитую машинами улицу:

– Слушай, твою машину запер “хаммер” Джерри Лэма. И зачем доктору-пенсионеру, который не выезжает за пределы Элмсбрука, этот танк? Просто загадка века. Неужели у него такой маленький член? – Сунув руку в карман фартука, она извлекает связку ключей. – Вон там, видишь, стоит моя синяя “камри”. Если ты нигде не задержишься, на обратном пути успеешь забрать Хорри из магазина. Я бы не хотела, чтобы он шел домой один в такую поздноту.

20:30

В машине у Линды пахнет дрожжами и лавандой. Тут удручающе чисто и пусто, только золотой брелок свисает с зеркала над лобовым стеклом. Вообще в последнее время любая пустота наводит на меня грусть и берedit нервы. Дождь шел полдня, в воздухе висит морось, переднее стекло запотело и размывает свет фар на встречной полосе. Я еду по центральной улице и останавливаюсь у счетчика на стоянке – прямо около “Спорттоваров Фоксмана”, флагмана папиной сети.

Вообще-то отец был электриком, но в один прекрасный день – а именно когда родился Пол, – он решил, что обязан что-то оставить в наследство детям. Заняв денег у тестя, он выкупил обанкротившийся магазинчик спорттоваров, а потом постепенно расширил свой бизнес до шести магазинов – вверх по Гудзону аж до штата Коннектикут. Он твердо верил в пару нехитрых правил: покупателей надо обслуживать добросовестно, а продавцы должны все знать про товары, которыми торгуют. Он гордо отказывал крупным сетевым магнатам, которые регулярно предлагали выкупить его с потрохами. По субботам он объезжал остальные пять магазинов, дотошно проверяя их отчетность на предмет огрехов и проколов. В детстве, когда мы с Полом даже не ходили в школу, он будил нас на рассвете и запихивал в машину: мы были обязаны ехать с ним в Доббз Ферри, Таритаун, Валгаллу, Стэмфорд и Фэйрфилд. Я сидел на заднем сиденье его подержанного “кадиллака”, глаза еще слипались, но я смотрел сквозь затемненное стекло, как над шоссе встает солнце. В машине пахло трубочным

табаком, а из магнитолы неслись песни Саймона и Гарфанкеля, Нила Даймонда, Джексона Брауна и Пегги Ли. И поныне, стоит мне услышать одну из этих песен в лифте или в приемной у врача, я тут же мысленно переношусь в ту машину, в полудремоту, меня начинает слегка укачивать и подкидывать на залитых гудроном трещинах в асфальте, и я слышу папин скрипучий голос – он подпевает любимым певцам.

Раз в квартал с нами ездил Барни Крониш, отцовский бухгалтер. Пол такие поездки терпеть не мог. Во-первых, ему приходилось уступать Барни переднее сиденье, а во-вторых, мы часто останавливались: то Барни хочет кофе попить, то отлить выпитое. Кроме того, старик громко пукал и ничуть этого не стеснялся. Чтобы отделаться от тошнотворного запаха переваренной капусты, мы с Полом открывали окна и высовывали головы наружу, точно собачки. Иногда папа, нажав у себя впереди кнопочку, запирает окна на замок и притворялся, что ничего не видит и не слышит. Это, по его меркам, считалось шуткой.

Когда отец работал, наше присутствие его даже радовало. Зато отдыхать с нами он совершенно не умел. До поры, пока мы были малы, он с нами замечательно управлялся: таскал на своих могучих руках, подкидывал на коленках – “Едет Джадик шагом, шагом... рысью, галопом...”. Едва научившись ходить, мы цеплялись за его толстые пальцы-сардельки и шествовали по кварталу. И спать он нас укладывал, частенько засыпая вместе с нами прямо на кровати, а мама потом его выуживала из комнаты. Но повзросление детей застало его врасплох. Он не понимал нашего пристрастия к телевизору и играм на приставке, не терпел лени, беспорядка в комнатах, незаправленных постелей, волос до плеч и диких картинок на футболках. Чем старше мы становились, тем больше он от нас отдалялся, погружаясь в работу, субботние газеты и шнапс. Иногда я думаю, что рождение Филиппа было маминой последней отчаянной попыткой заново обрести мужа.

Я заранее представляю темно-зеленые маркизы над окнами магазина: с водяными потеками и, как обычно, засиженные птицами. Но оказалось, что их недавно вымыли, а экспозицию в витринах сменили в преддверии осенне-зимнего сезона: коньки, клюшки, лыжи, сноуборды. На стоящем в углу манекене – вратарский шлем, а зловещая флуоресцентная подсветка делает его похожим на Джейсона, серийного убийцу из фильма “Пятница, тринадцатое”. Наш Элмсбрук – самое место для серийного убийцы. Не поймите меня превратно, но ведь чем благостнее, тем страшнее! Джейсон и Фредди являются убивать озабоченных девочек-подростков именно в такие живописные городки с

чистыми тротуарами и часами на башнях. На центральной улице – широкий, выложенный брусчаткой променад, посередине фонтан, вдоль променада – скамеечки и магазинчики с маркизами под цвет вывесок. Все ухожено, сплошная идиллия.

Возможно, как раз из-за мыслей о серийных убийцах меня аж подкидывает, когда по водительскому стеклу вдруг забарабанил Хорри. А может, просто видок у него страшноватый: длинные волосы убраны с лица под белую повязку фирмы “Найк”, бирка, которую он забыл снять, болтается прямо на лбу, а в зубах у Хорри – сигарета с длинным необломившимся столбиком пепла.

– Ты меня напугал, – говорю я.

– Не тебя одного. Я на всех страх навожу.

Я смеюсь. Не то чтобы над удачной шуткой, а из вежливости. Хорри ужасно жалко, но обращаться с ним надо как с любым другим человеком, потому что мозговая травма не сделала его полным идиотом, и он всегда чувствует, когда его жалеют, как собака всегда чувствует, когда ее боятся.

– А почему ты здесь? Ты же должен шубу сидеть.

– Шиву.

– Шива – это такое божество индийское, с шестью руками. Или с четырьмя руками и двумя ногами... не знаю. Короче, у него шесть конечностей.

– А еще шива на иврите – семь.

– Шесть рук, семь дней... – Он на мгновение смолкает, размышляя над потенциальными теологическими выводами из этих цифр, но не приходит ни к каким выводам, кроме одного: пора сделать еще одну затяжку. – Ну, так ты разве не должен там сидеть?

– Должен, – подтверждаю я. – Как в магазине? Дела идут?

– Стоят. – Он пожимает плечами. – Зайдешь?

- Да нет. Я просто ехал мимо и остановился. Твоя мама сказала, что тебя хорошо бы домой подкинуть.

- Она тебя прислала?

- Она знала, что я поеду мимо.

Он качает головой и недовольно сдвигает брови:

- Надо мне жить отдельно. Как раньше.

- Ну и? Сними себе что-нибудь.

Он стучит пальцем себе по виску:

- Травма мозга. Я не со всем справляюсь.

- С чем, например?

- Например, я никогда не помню, с чем именно я не справляюсь. - Он распахивает пассажирскую дверцу и плюхается на сиденье. - А курить у матери в машине нельзя, - говорит он и выпускает колечко дыма.

- Я и не курю. Это ты куришь.

- А списать могу на тебя. - Он стряхивает пепел на резиновый коврик. - Ты ведь кадрил когда-то Пенелопу Мор?

- Пенни Мор? Да. Мы очень дружили. Как она? Где?

- Преподает фигурное катание. На крытом катке, где мы в хоккей играли.

- У Келтона?

- Ага. Я туда и теперь хожу иногда.

- Ты ведь, помню, неплохо в хоккее играл.

- Нет, это ты неплохо в хоккее играл. А я был великим хоккеистом.

- Вот уж не думал, что Пенни останется в этих краях.

- Почему? Потому что ей не ушибли голову?

- Нет! Хорри! Тьфу ты, господи! Я же совсем не то имел в виду.

Но он широко улыбается сквозь завесу дыма, сгустившуюся в салоне машины.

- Джад, расслабься. Я просто стебаюсь.

- Чтоб тебя!

- Так меня уже. И изрядно. Так-то, брат мой по второй матери.

- Спасибо, горжусь. Так почему ты вспомнил о Пенни Мор?

- Она в магазине.

- Сейчас?

- Ну да. Она в будни, по вечерам, приходит сводить баланс. Зайди, поздоровайся.

- Пенни Мор, - повторяю я. И в памяти сразу всплывает ее жестковатая улыбка, вкус ее поцелуя. А ведь мы с ней когда-то заключили договор. Интересно, помнит она или забыла?

- Она будет рада тебя видеть. Наверняка.

- Может, как-нибудь в другой раз. - Я завожу мотор.

– Я что-то не так сказал?

Я качаю головой.

– Просто... тяжело встречаться с людьми из прошлого, когда в настоящем все так хреново.

Хорри кивает с видом мудреца.

– Тогда мы с тобой – два сапога пара. – Пошарив по карманам и вытряхнув на сиденье кучу мелочи, он в конце концов извлекает криво свернутый косячок и прикуривает от еще тлеющей сигареты. Затыкивается поглубже и, задержав дыхание, передает мне самокрутку.

– Нет, я не по этому делу, – говорю я.

Хорри пожимает плечами и, приоткрыв рот, медленно выпускает танцующий дым.

– Мне от головы помогает, – говорит он. – Иногда я чувствую, что вот-вот будет приступ. Покурю – сразу отпускает.

– А мать запах не почует?

– А что она со мной сделает? Убьет, что ли?

В его голосе внезапно слышится несвойственная Хорри агрессивность, и я чувствую, что просьба Линды заехать за сыном – очередной эпизод в их долгой позиционной войне.

– Хорри, с тобой все в порядке?

– Все классно.

Он снова хочет передать мне косяк.

– Я за рулем, – отвечаю я.

Он пожимает плечами и, сделав еще одну затяжку, говорит:

– Мне больше достанется.

## Глава 9

21:05

Оказалось, никто и не думает расходиться. Шива в полном разгаре.

– Джад! – окликает мама, пока я стараюсь потихоньку прокрасться на свое место. И все взгляды устремляются на меня. – Где ты был?

– Воздухом дышал, – бормочу я и присаживаюсь на низенький стул для шивы.

– Ты помнишь Бетти Элли? – спрашивает мать, указывая на маленькую, похожую на птичку женщину, сидящую прямо передо мной. Стульчики, предназначенные для родных усопшего, гораздо ниже тех, на которых сидят гости, поэтому мой взгляд постоянно упирается в их коленки, а если смотреть им в лицо, видны волосинки в ноздрах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/dzhonatan-tropper/dalshe-zhivite-sami/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.



Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

----

Купить: <https://tellnovel.com/dzhonatan-tropper/dalshe-zhivite-sami-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)